

Татьяна Толстая

Девушка в цвету



18+

Татьяна Толстая
Девушка в цвету (сборник)

«АСТ»

2015

Толстая Т. Н.

Девушка в цвету (сборник) / Т. Н. Толстая — «АСТ», 2015

В новую книгу Татьяны Толстой «Девушка в цвету» вошли как новые, так и публиковавшиеся ранее автобиографические тексты – о молодости и о семье, о путешествиях во Францию и о жизни в Америке, а также эссе о литературе, кино, искусстве.

© Толстая Т. Н., 2015

© АСТ, 2015

Содержание

Девушка в цвету	6
Девушка в цвету	6
Варвары	11
Чужие сны	14
Белые стены	17
Как мы были французами	20
Париж кармический	23
На привале	27
Пустой день	28
Супчик	29
Макдональдс	30
Купить молока	34
Переводные картинки	35
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Татьяна Толстая

Девушка в цвету (сборник)

© Толстая Т. Н.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Иногда мама позволяла рассматривать вещи в ящиках комода. Там были какие-то чудесные шарфы, ожерелье в форме серебряной стружки, сумочка шанель, красивые часики, туфли... Мне так хотелось всего этого – браслетов, колец, серег, бус, – и чтобы много, с избытком, через край. Мне так хотелось закутаться во все шали и намотать себе на голову тюрбаны из всех шарфов, а из тех, что останутся, сшить себе восточные шаровары или, на худой конец, цыганские юбки. Я алчно рассматривала книжные, альбомные картинки с этой избыточностью, невозможной в реальной, нормальной, ежедневной жизни. Но я росла под насмешливым голубым взглядом мамы, которая умела как-то без слов, одним поворотом головы дать понять, что это всё для бездельников, а надо работать. Учиться, например.

Татьяна Толстая

Девушка в цвету

Девушка в цвету

На втором курсе университета я осталась без стипендии. А мне были деньги нужны. Кофе, такси, сигареты. И я устроилась на почту разносить телеграммы.

Был июнь, вечером светло как днем, не страшно и очень красиво: пустой летний Ленинград, волшебные улицы Петроградской стороны; на стенах домов, над парадными – коты и ундины, треугольные девичьи лица огушительной красоты: опущенные глаза, пышные волосы, дневные сны; глубокие подворотни, полные полумглы, лиловая сирень в садах и скверах, и вдалеке за Невой светла Адмиралтейская игла.

Отделение почты было на Кронверкском проспекте. Мне были рады: мало кто хочет работать летом в такую чудную погоду за такие ничтожные деньги. Начальница, воспаленная государственными тревогами и сложностями финансовой ответственности, рассказала мне, как строится нелегкая работа разносчика телеграмм.

Есть Маршрут номер 1, налево, и Маршрут номер 2, направо. Почтальон приходит в отделение, берет пришедшие телеграммы и идет либо туда, либо сюда, по очереди. Формально телеграмма заклеена, но почтальон обязательно заглядывает в нее, никакой тайны переписки, забудьте. Потому что почтальон – не тупой робот, а тонкий психолог.

При чем тут психология? А вот при чем. Лето. Люди тонут в водоемах. За месяц хоть одна телеграмма с сообщением о том, что «Николай утонул», непременно придет. И вот представьте: вы приносите эту телеграмму, вручаете ее приветливой женщине, может, отводящей тыльной стороной руки прядь волос со лба, может, вытирающей руки о фартук. Женщины же все время что-то стряпают. Вот вы стоите на пороге коммуналки, эта женщина вам улыбается, солнце светит на лестничную площадку сквозь пыльные, чудом сохранившиеся остатки питерских витражей, как сквозь воду. Чистенько.

И если вы, не зная о содержании телеграммы, тоже будете улыбаться, радоваться жизни и комментировать прекрасную погоду и прочие глупости, а потом она развернет бумагу – а там «Николай утонул...» – это же какой удар, это же какое коварство, это, может быть, инфаркт.

Нет, к горю надо подводить, по мере возможности, плавно. Горе легче принять, если принес его тебе злой человек. Поэтому надо сделать неприятное, злое лицо; откроют дверь – мрачно буркнуть: телеграмма! Не улыбаться, смотреть мимо, в пол. Сунуть квиточек: тут распишитесь. Расписались – сунуть телеграмму, и с лестницы горошком вниз. И ниже площадкой можно постоять у стены, зажмурившись, стиснув зубы и запрокинув голову, не в силах выбросить из головы чужое, милое, последний раз в жизни счастливое лицо той, ни о чем не подозревающей, там, наверху. На берегу.

Постояла. Постаралась забыть. И дальше по маршруту.

И, наоборот, если приходит, например, «встречная». То есть: «встречай 15-го поезд 256 вагон 8». Мирная, хорошая весть. А дверь открывает бабушка. Днем-то в основном бабушки дома. А бабушка эта – ведь у нас начало семидесятых – бабушка эта и войну помнит, и от эвакуации еще не отошла, и сколько ж похоронок она в руках держала! Поэтому, увидев телеграмму, бабушка обычно начинает пятиться со страхом в глазах, выставляет ладоши, чтобы оттолкнуть надвигающееся известие, бормочет: нет, нет, нет... Так что на случай, если откроет дверь бабушка, надо заранее, еще за дверью, сделать беспечно-счастливое лицо и сразу, с порога, помахивая телеграммой, запеть: все хорошо, вам телеграммочка хорошая, едут, едут, пеките пироги! – и прочую ерунду.

За одну доставленную телеграмму платят семь копеек. За недоставленную – три. То есть если никого нет дома, ты пишешь на маленьком бланке маленькое извещение: «вам пришла телеграмма, она на почте, можете позвонить». И бросаешь бланк в почтовый ящик. Но это не значит, что такую телеграмму повторно разносить не надо. Нет, ты тупо идешь с ней и через час, и через два... А люди-то на работе, людей-то дома нет... Коррупционный механизм, надеюсь, понятен.

Поэтому утренняя смена – она посытнее кормит. Три раза не доставишь, потом один раз доставишь – вот тебе и шестнадцать копеек с телеграммы. Многие тем и жили. Официальная же зарплата разносчика телеграмм, не соврать, была тридцать два рубля в месяц. А если ты не в штате, свободный художник, то примерно столько же, по рублю в день, баш на баш и выходит. Но зато есть возможность ограбить бюджет на шестнадцать копеек, и я в грабителей этих не брошу камня. Не всякий вор должен сидеть в тюрьме, так я вам скажу.

Есть и такой источник обогащения, как чужое горе. Поминки. Один раз мне повезло: я приношу телеграмму соболезнования: «всем сердцем с вами, скорблю о вашей потере», – дверь открывает безутешная вдова, за ней в проеме – интеллигентная, небедная квартира. Синие обои, мебель ампир. Портреты в овалах. Сделав приличествующее, чуть опечаленное лицо, вручаю телеграмму. Вдова расписывается на квитанции и вручает мне двадцать копеек на чай.

Обана! Первый раз в жизни получила на чай. Интересное ощущение. Вышла, села на лавочку в скверике покурить и обдумать. Это же какие деньжищи. Прикинула: унижают ли чаевые человека? – Неа, не унижают, только радуют; извините, вдова и покойник. Вам время тлеть, а мне цвести. Мне восемнадцать лет, и я намерена цвести. Красно-лиловым персидским цветом.

Докурила, вернулась на почту – еще одно скорбное послание. Бодренько отнесла вдове. Вдова приняла послание и по лицу ее прошла тень. Не от могильной сени, но от предстоящего ей ущерба: на этот раз она наградила меня пятнадцатью копейками. Окей, тенденция понятна. «Повадились тут ходить, деньги мои выпрашивать!» – читалось на ее заплаканном лице, хотя я не произносила ни слова, молча протягивала квитанцию и шариковую авторучку на мочальной веревочке и молча же уходила в пахучую тьму подъезда; первый этаж был, со двора. Батареи отопления какие-то с торчащей паклей, ледяные летом. Коричневые, земляного цвета стены. Лампочка вывинчена. Третья телеграмма принесла мне гривенник, а все последующие вдова хватала с нескрываемой ненавистью в глазах и чаевых больше не давала. Просто вырывала телеграммы из моих рук и с глухим стуком захлопывала войлочную, утепленную дверь.

Питерские дворы устроены интересно и запутанно. Нумерация квартир непредсказуемая. 14, 15, 15а, 3, 78, 90, 16, 24, 18, а на самом верхнем этаже – 1. 7-й и 8-й квартир в этом доме нет. А квартира номер 6 есть, но вход в нее из другого дома. Или из подворотни. А на некоторых дверях номеров и вовсе нет, и света на площадке нет, и вот ты стоишь на лестнице черного хода и водишь руками по войлоку, ощупывая дверь и слыша слабую вонь помойного ведра, невидимого во тьме, и различая глухие голоса за дверью, а чаще – глухое молчание, как под водой. Пока найдешь нужную квартиру – потеряешь кучу драгоценного времени. Уже в конце моего почтальонского срока я подружилась с почтальоном-инвалидом, у которого в книжечке была начертана четкая и ясная схема всех парадных и черных ходов Маршрута номер 1 и Маршрута номер 2, – любо-дорого посмотреть! Он работал в штате, за тридцать два рубля, и уважал свою работу: никуда не спешил, ходил не быстро, знал, где опасные квартиры, а где приветливые, где живет маньяк, хватающий тебя за руку, чтобы втащить в свое жаркое, удушающе пахнущее сладким одеколоном жилище, а где живут девушки-близнецы, кто лежит прикованный к кровати, а у кого неделями никого нет дома. Странный был человек, немножко ку-ку, инвалид по голове. Ничего, кроме разноса телеграмм, его вообще не интересовало.

Он был как бы такой солдат Почтового Государства, государственный человек, без юмора. Почтовое дело представлялось ему, кажется, сияющим Проектом, одной из систем,

благодаря которой Государственный Организм функционирует: лимфатической системой, или там нервной. Он гордился, что он часть этого Проекта. А нас, временных и легкомысленных, он как минимум не уважал. Должно быть, он виделся себе старинным, еще 1808-го какого-нибудь года, чиновником в свежеизобретенном мундире Почтового ведомства: темно-зеленый кафтан с черным воротником и черными же обшлагами, на пуговицах – перекрещенные якорь и топор. Мне, во всяком случае, он виделся именно таковым, и, завидев его издали в слабом летнем потоке людей, прямого, сухого, возвращающегося с маршрута, я думала: вот идет, сквозь беспечную и смеющуюся толпу, само Государство, идет размеренно и строго и пахнет сургучом, мочальными веревочками, чернильными карандашами и резиновыми штампами.

Он показал мне свои схемы, не выпуская их из рук, не делаясь со мной: если надо, пройди по парадным сама и срисуй. Он как бы давал понять, что причастен Государственным Секретам, планам железных дорог, синькам подземных заводов, чертежам стратегических зернохранилищ, но врагу и конкуренту не отдаст. Если пуля, если смерть – быстро схватит и проглотит книжечку, разжует! И чернила с разлинованных страниц будут стекать в его уже мертвую гортань.

В этом районе было много старых красивых домов, еще не полностью умерших, несмотря ни на что: несмотря на блокаду, на советскую нищету, на тени без вины арестованных и увезенных отсюда на подгибающихся ногах по этим чуть сбитым ступеням. В одной парадной, в фойе, был камин – так и простоял, холодный и запустелый, с дореволюционных времен. А наверно, когда-то его топили, и по лестнице вверх поднималась ковровая дорожка, ну, хотя бы до бельэтажа или там третьего этажа. И было тепло, и был консьерж с усами. И пахло кофе и ванилью. И лифт был коробкой света в сквозном, ажурном колодце. А теперь камин – могильная яма – был покрашен масляной зеленой краской, как и вся парадная. Прямо по мрамору, масляной зеленой краской.

А квартиры в основном были, конечно, коммунальными. Поэтому на дверях было по несколько звонков, причем встречались и старые-престарые, – плоская щеколда размером с половинку бабочки, с надписью кругом по латунному кружку: ПРОШУ ПОВЕРНУТЬ. Это был звонок механический, не электрический. Я знаю, как он работал, у наших знакомых такой был в квартире. От бабочки идет проволока, потом там под потолком латунная планка, и к ней подвязан колокольчик. Повернешь бабочку – колокольчик зазвонит. (Когда население обнаружило, что латунь содержит медь – ценный металл, все эти милые «ПРОШУ...» были вырваны по-мандельштамовски, с мясом, и сданы в металлолом; отвинчивали и медные ручки с дверей, но их не сдавали, они просто наполнили собой комиссионные магазины. Такие красивые делали ручки в 1914 году! Лилии, водоросли, а не ручки.)

А на одной двери был звонок удивительный. Стеклопанная коробочка, имя хозяина, и когда ты звонишь, загорается лампочка в коробочке и высвечивается надпись: «Слышу. Иду». И они слышат! И идут! Какие чудесные люди! А если никого нет дома, то надпись «Извините, дома никого нет». Я спросила открывшую мне девушку, как переключаются надписи? Оказалось, это работает от ключа в комнате. Уходя, поворачивают ключ – и вот «нет дома». Как это прекрасно!

Отнесешь телеграмму в дальний конец Маршрута, километр туда, километр назад, вернешься – а уже новая лежит, тебя ждет. Снова иди туда же. Мне было восемнадцать лет, мне хотелось привнести разумность и порядок в устройство почтовой службы, если не всего мироздания, хотелось быть полезной. Я говорила начальнице отделения: «Но почему же я должна так спешить отнести “встречную” телеграмму? Человек приезжает только через неделю! Да и люди все днем на работе. Давайте я накоплю штук десять и часа через два-три пройду по Маршруту. И мне веселее, и почта деньги сэкономит».

Но она пугливо отвечала: нет, нет, нельзя; такова инструкция, относить сразу. Она вообще была женщиной испуганной, встревоженной, согнувшейся под каким-то невидимым грузом. Как-то утром, прекрасным и сияющим, как и весь тот июнь, – росистым, с белой сире-

нюю, с птичьим щебетом, – я видела, как она торопливо прошла на работу, ссутуленная, очками вперед, ничего не видя, кроме своей государственной заботы; руки плетью висели перед туловищем. Она плохо спала; утро ее не радовало; росу долой, птиц к черту, сирень в топку. Есть ведь инструкция, а люди норовят ее нарушить. Как проследить? Как навести порядок? Каждого не проверишь! Не пойдешь за ним одновременно по Маршруту номер 1 и Маршруту номер 2! А тут еще и секретное учреждение! Сигма! Приходит зашифрованное сообщение по государственным телеграфным проводам в засекреченную государственную Сигму! И эту наисекретнейшую телеграмму с болью отдаешь в руки легкомысленной вертихвостке! А если враги как-нибудь чего-нибудь там? Можно было бы подождать полчаса, дожидаться инвалида с Маршрута номер 2 и поручить Гостайну ему. Он солдат! Он в мундире! Но ждать нельзя! Инструкция! Вот где засада.

И она вручала мне тщательно заклеенную телеграмму для Сигмы. Я должна была промаршировать прямо на проходную этого загадочного секретного учреждения и молча передать Гостайну в руки вахтера в чине не меньше полковника. Так же молча получить расписку. И – строевым шагом – назад. Она сжимала мне руки своими холодными руками, с тревогой и недоверием вглядываясь мне глубоко в глаза: доставишь? не подведешь? могу ли довериться? Она глядела мне вслед, стуча зубами от волнения, но ни разу не было, чтобы я ушла подземными тропами к врагам, унося шифры и коды.

Бедная, она всегда была на посту! Между тем, местное население, как это всегда бывает, прекрасно знало, что таится за стенами без вывески: институт прикладной химии, занимавшийся отравляющими веществами и взрывчаткой и испоганивший на десятилетия воду и землю в красивейшем месте города. Для тех, кто не знает нашей топографии: вот так Пушкинский Дом, а вот так – через реку – баки с зарином и заманом, не знаю, с ипритом каким. Рачительно так, по-советски. Я в первый же раз запуталась, куда идти: ну а как, если вывески и адреса нет? «А вы не знаете, где тут Сигма какая-то?..» – «А, ГИПХ! Вон там перейдете и вон туда! Вдоль забора, а там проходная!» Естественно, я отгибала уголок, запускала глаз под охранную ленточку и читала секретные телеграммы, отправляемые Центром Сигме по открытой связи. Всякий бы прочитал. Ничего там интересного не было.

Зато по другую сторону Кронверкского проспекта простирался мирный Зоологический Сад, тоже утопавший в белой и лиловой сирени, и туда я тоже иногда ходила: на Алтае поймали медвежонка и спрашивали, не надо ли саду медведя? Потом почему-то пришла телеграмма, сообщавшая, что украли шестьдесят одеял. Каких одеял? Кто мог их украсть? Где? При чем тут Зоосад? Все это были клочки, обрывки чужих историй, рассыпанная мозаика, форточки в чужую жизнь, – облачко музыки из окна, смех из распахнувшейся двери, таинственный угол комнаты, видный через щель в занавесках. Где-то там жила самая загадочная из моих адресатов – некая Конкордия Дрожжеедкина. Сколько ей было лет? Как можно было так назвать девочку? Счастлива ли она? Видит ли из своего окна белую ночь, подворотни, наполненные прозрачной мглой, и кусты цвета сумерек? Кого она любит? Кто любит ее? А я, кого я люблю?

Я бесплатно пробиралась в Зоосад – почтальону можно – и забредала в дальние углы, к воде, к Неве, там, где птицы, там где никому не интересно: люди ведь ходят смотреть на слона, на белых медведей, на жирафа, на площадку молодняка, где можно погладить маленьких, еще безобидных тигрят, а на птиц смотреть не ходят. И я задумала вырвать у павлина перо и носить его в волосах или как-то еще, я точно не придумала. Просто вот захотелось павлинье перо, и все тут. Я решила прикормить павлина булочкой, а когда он подойдет близко к прутьям клетки, схватить его за хвост – может быть, перо и выпадет. Вон же там, на земле, рукой не дотянешься, валяются сброшенные птицами перья. Но вольер был забран густой сеткой, и павлин смотрел на меня враждебно, и булочка моя его не соблазнила, и над всей аллеей внезапно раздался громкий, издевательский хохот: меня явно разоблачили сторожа.

Я отдернулась от места совершаемого преступления, торопливо вставая с четверенек, делая вид, что ничего не происходит, отряхивая колени и придавая лицу отстраненное выражение: я? я ничего, я просто склонилась надпись прочитать, плохо вижу. Но рядом никого не было, и на аллеях никого не было видно, а насмешливый женский хохот, звонкий, издевательский, висел в теплом воздухе зонтиком, куполом, полусферой летнего неба. А-ха-ха-ха-ха! – надо мной, и над моими планами обобрат павлина, и над моими скопидомскими расчетами – копеечка к копеечке, всё в кубышку; и над моими планами цвести, и над моими планами жить, – сам по себе висел этот смех, как будто мироздание внезапно обратило на меня внимание: ага, это ты подсматриваешь за чужими жизнями, мелкая мошка? – да ты сама как на ладони! А-ха-ха-ха-ха!..

Это был какой-то момент истины, непонятно какой, но истины: когда над вами смеются, а кто, не видать, – открываются какие-то внутренние горизонты, раздвигаются стены, загорается свет, расстилается простор. Я стояла, вросши ногами в плотную песчаную дорожку, объятая смутным экзистенциальным стыдом. Вот так будет на Страшном Суде. А-ха-ха-ха-ха!.. – женщина, она же Бог, начала свои разоблачения по третьему кругу, и я ее увидела: светлая, с серыми крыльями, с тонкими длинными ногами, она разинула клюв и, запрокинув голову, хохотала в своем вольере: чайка-хохотунья, она же степная чайка, *Larus cachinnans*. Пошла к черту, дура. Напугала только.

...«Пришлите судно и клизму». Я отнесла телеграмму – никого – бланк в ящик – вернуться на почту. «Не надо судна и клизмы». Так надо или уже не надо? Что у них там случилось? Я спросила у начальницы, – она никогда не спала, сидела и смотрела воспаленными красными глазами на неуправляемый мир, – так мне относить эти вот телеграммы или нет? Одна ведь отменяет другую. И дома у них никого. Может, они катаются по Неве на кораблике? Может, ну их? «Неси! Инструкция говорит: неси! Мало ли что. С нас спросят!»

Я отнесла раз, и два; и третий раз я отнесла загадочным держателям кружки Эсмарха взаимоисключающие просьбы. Я ходила взад-вперед до позднего вечера, но квартира молчала, никто мне не открыл, никто не перезвонил на почту, и назавтра никого не было, и послезавтра тоже. А потом мне все это надоело. И я уволилась.

Инвалид посмотрел мне вслед с осуждением: так он и знал, из меня не вышло солдата Почтовой Службы. Начальница уже с тревогой думала о следующем работнике – он только что вышел из тюрьмы, был белый как утопленник, и его водила за руку молодая красивая жена с огромным, дутым золотым браслетом. «Как ты думаешь, ему доверять можно?» – спросила она меня, но не стала ждать ответа, ведь она разговаривала сама с собой.

Я уволилась, заработав целые тридцать пять рублей, прямо как стипендия отличника; наелась черносмородинного мороженого с сиропом и уехала на дачу: июль обещал быть таким же чудным, каким был июнь. Чудным он и был. Только мне долго потом казалось, что мир как-то неуловимо изменился. Как будто шумы какие-то умолкли. Или я оглохла, что ли.

Варвары

Если бы моя жизнь сложилась иначе, я сшила бы себе желтые шелковые шаровары, носила бы турецкие гаремные тапки с загнутыми носами и двадцать пять серебряных цепочек, а лучше монисто – туркменское какое-нибудь такое, или грузинское. Браслеты, конечно, до локтя. Шали розовые, жаркие, с голубыми огурцами, с фиолетовыми розами. Тюрбаны. Курила бы кальян. Глаза подводила бы сурьмой, волосы – когда не тюрбан – носила бы вольными, распущенными, а по праздникам надевала бы тубетеечку или жемчужную сетку.

Я варвар, мне можно.

Собственно, никто и никогда мне не препятствовал именно так почему-либо одеваться, просто денег не было, да и куда бы я поперлась в таком дурацком виде? У нас не Серебряный век, и тут не Монпарнас. А главное – темперамент мне не позволял шляться в таких театрально-балаганных, Бакстовских костюмах, потому что они предполагают компанию богемную, расслабленную, пьющую, вольных нравов, я же была кабинетным очкариком и книжным червем, и даже на танцы ходить не любила: скучно.

Нас у мамы было семеро, причем девочек – пять, и ни одна шить не умела, так что с красивой одеждой были проблемы. В магазинах висели какие-то халаты. Были какие-то неумелые портнихи. Однажды в допотопные времена мне что-то сшили в ателье – уж не помню что. Помню, что у приемщицы были необыкновенно длинные красные ногти невиданной красы, они летали над белыми разлинованными квитанциями, как лепестки. Я была заморожена ими, сказала маме. Мама – сухо, как всегда – заметила мне, что это ногти бездельницы.

Сама мама трудилась за семерых: готовила, подметала, стирала, вязала, делала всю черную ручную работу, таскала тяжести, копалась на даче в огороде, а кроме того, обучала младших детей иностранным языкам. У нее вообще никаких ногтей не было, а ей, наверно, хотелось. Но если она сказала, что длинные красные ногти это неправильно, то значит неправильно.

Папа ездил за границу и старался нам всем привезти подарки. Это было непросто. Однажды он купил пять пар обуви – для всех дочерей, – и его задержали на таможне за намерение спекулировать. Все оправдания, что детей семеро, а сам он профессор Университета, не действовали. Отбилась с трудом.

Папа не умел покупать платья или что-то такое, поэтому он привозил отрезки тканей: сошьете как-нибудь. Они были такие неземные! В пятидесятые годы он привез для мамы две удивительные нейлоновые ткани – тогда нейлон был модной новинкой. Одна была – полупрозрачная сиреневая ткань, искусственный «газ», и по сиреневому полю были разбросаны белые рельефные букетики ландышей. Вторая была желтой, тоже полупрозрачной, и цветы были – мимоза. Из сиреневой мама сшила платье на чехле, но носила его редко: это было так красиво, так необыкновенно, что носить его было вроде как и некуда. А желтая была уж слишком.

Еще он привез ей черную нейлоновую шубу, легкую и чудно пахнувшую. Она висела в прихожей на вешалке, и я, проходя мимо, зарывалась лицом в ее прохладу. Подкладка была свистящая, блестящая и от нее слабо веяло ванилью.

Некоторые ткани мы никак не могли поделить между собой, поэтому оставляли до лучших времен, и право выбирать получала та из нас, которая выходила замуж. Вот тогда и выяснилось, что папа купил слишком короткий кусок, маломерку, и на полноценное платье его не хватает. А одна материя, которую он купил для мамы, оказалось годной только на концертное платье: это был темно-синий английский бархат, как-то хитро мерцавший серебряной пылью, причем непонятно было, как это ему удавалось. Папа, видимо, представлял маму в этом королевском платье на каком-то невероятном балу, – так он ее видел, – но мама была всегда в какой-то старой кофточке, в фартуке и с кухонным полотенцем через плечо: подхватить что-

нибудь горячее, и это синее мерцание ее сконфузило. Бархат убрали в сундук, и он там пролежал сорок лет.

Мама ходила черт знает в чем: в удобном и старом, но если ждали гостей или она сама собиралась в гости, то она шла в свою спальню и возвращалась оттуда совершенно ослепительной. Непонятно было, как она это делала: как будто ее там переколдовывали. Каблуки, французские духи, помада и сверкающий голубой взгляд. И это все? Ведь этого же не может быть достаточно? Мама никогда не пользовалась вообще никакой косметикой, у нее не было ни пудры, ни туши, ни кремов, кроме крема для растрескавшихся рук. У нее были только духи, папа привозил. Самые дорогие, самые таинственные.

Иногда она позволяла рассматривать вещи в ящиках своего комода, – мы, конечно, начинали канючить и выпрашивать, но она держалась стойко и ничего не раздаривала: как-нибудь потом. Там были какие-то чудесные шарфы, ожерелье в форме серебряной стружки, сумочка шанель (это когда у всех прочих – хозяйственные кошёлки и хлопчатобумажные чулки в резинку!). Они там просто лежали, она ими не пользовалась. Какие-то красивые часики – она их не надевала; туфли – она их не носила. Перчатки. Серег не было. Колец не было. Браслетов – никогда.

Мне так хотелось всего этого – браслетов, колец, серег, бус, – и чтобы много, с избытком, через край. Мне так хотелось закутаться во все шали и намотать себе на голову тюрбаны из всех шарфов, а из тех, что останутся, сшить себе восточные шаровары или, на худой конец, цыганские юбки. Я алчно рассматривала книжные, альбомные картинки с этой избыточностью, невозможной в реальной, нормальной, ежедневной жизни.

Но я росла под насмешливым голубым взглядом мамы, которая умела как-то без слов, одним поворотом головы дать понять, что это все для бездельников, а надо работать. Учиться, например. И учиться понимать, что красоту можно и нужно включать и выключать, и что секрет шарма – не в сапогах и не в кофточках. Тем более когда у тебя нет ни приличных сапог, ни красивых кофточек.

В самом начале семидесятых в Питер внезапно завезли кучу какой-то иностранной обуви. (Советская была чудовищной, я не хочу о ней говорить. Баретки со шнурками. Купить и повеситься. На шнурках на этих.) Помню, я шла мимо магазина и в широкое освещенное окно его увидела, что женщины ползают по полкам, как осы. Меня вихрем закрутило, внесло внутрь. Там – с давкой и криками – продавалась нечеловеческая, неприличная красота: розовые замшевые туфли на высоком толстом каблуке, с бантом на пятке. Ослепнув от страсти, я прорвалась к прилавку и дрожащими руками отдала за них всю свою наличность, всю стипендию, которая, к сожалению, была со мной в сумочке.

Конечно, это был нечеловеческий ужас: температурный бред поросенка. Конечно, их сделали в какой-то социалистической стране, в которой ступни у женщин плоские, как утюги. Конечно, эти банты не подходили ни к одной одежде, так что приходилось прятать ноги под стул, а потом пришлось их и вовсе оторвать, после чего совсем стало непонятно, почему у девушки на ногах эти куски ветчины, этот окорок тамбовский? И еще я покрасила свои густые медвежьи волосы в темно-зеленый цвет, – у меня была темно-зеленая мохеровая кофта, и волосы стали совершенно как эта кофта; зеленкой красила, в тазу.

Я вышла из ванны, равномерно зеленая и мохнатая от макушки до попы; из этих ТЮЗовских джунглей сверкали стеклышки моих близоруких очков, а на ногах топырились свиные рульки.

– Ты варвар! – сказала мама.

Ну значит варвар.

Как мы знаем, Вселенная всегда откликается на наши просьбы и запросы, но неточно, словно недослышав: потом, позже в жизни, когда я жила в Америке, я смогла вволю закупить себе и бус, и шалей, и всего этого барахла, и там, конечно же, был специальный праздник Хэл-

лоуин, карнавал для таких как я, и конечно же, я выпросила в своем колледже театральные реквизиты – кринолин, шекспировское что-то, Гертруда, наверно. Тяжелая парча, и кружева, и банты, и все это пахло пылью и кулисами, – я накрашила глаза до бровей особой театральной пудрой с блестками, и сияла как крокодил на солнце, и даже получила на домашнем балу какой-то приз за свой наряд: банку маринованных грибов, собранных в Массачусетсе эмигрантами, но все это было совершенно не то. И банты были фальшивыми, мертвыми, и кринолин был чужой и молчал. И, окруженная скелетами, тиграми, пиратами, ведьмами, утопленниками, висельниками и вампирами, я чувствовала себя не собой, а такой вот тоже нечистью, которой предстоит сгинуть с первыми лучами солнца, когда пропоет третий петух.

Нет, не надо мне этого.

Я покупаю себе красивые платья, вешаю их в шкаф и не ношу их. Туфель у меня не перечесть. Я покупаю сумочки, шарфики, цепочки всех сортов, серьги и складываю все это в ящики комода. Есть у меня специальные шкатулки для колец, есть полки для шалей. Там и сям стоят группами флаконы с духами; я их покупаю, но душиться не люблю. Каждый год я покупаю себе новый серебряный браслет и даю ему тайное имя. Когда я сажусь работать, я раскладываю перед собой свои побрякушки, но не надеваю: а зачем. У меня хорошее воображение, и в своем воображении я владею всеми вещами мира, люблю что хочу и кого хочу.

Не пойду по дороге, пойду поперек. Не по земле, по облакам.

Чужие сны

Петербург строился не для нас. Не для меня. Мы все там чужие: и мужчины, и женщины, и надменное начальство в карете ли, в мерседесе ли, наивно думающее, что ему хоть что-нибудь здесь принадлежит, и простой пешеход, всегда облитый водою из-под начальственных колес, закиданный комьями желтого снега из-под копыт административного рысака. В Петербурге ты всегда облит и закидан – погода такая. Недаром раз в год, чтобы ты не забывался, сама река легко и гневно выходит из берегов и показывает тебе кузькину мать.

Некогда Петр Великий съездил в Амстердам, постоял на деревянных мостиках над серой рябью каналов, вдохнул запах гниющих свай, рыбьей чешуи, водяного холода. Стеклообразные, выпуклые глаза вобрали желтый негаснущий свет морского заката, мокрый цвет баркасов, шелковую зеленую гниль, живущую на досках, над краем воды. И ослепли.

С тех пор он видел сны. Вода и ее переменчивый цвет, ее обманные облики вошли в его сны и притворялись небесным городом, – золото на голубом, зеленое на черном. Водяные улицы – зыбкие, как и полагается; водяные стены, водяные шпильки, водяные купола. На улицах – водянистые, голубоватые лица жителей. Царь построил город своего сна, а потом умер, по слухам, от водянки; по другим же слухам, простудился, спасая тонущих рыбаков.

Он-то умер, а город-то остался, и вот, жить нам теперь в чужом сне.

Сны сродни литературе. У них, конечно, общий источник, а кроме того, они порождают друг друга, наслаиваются, сонное повествование перепутывается с литературным, и все, кто писал о Петербурге, – Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый, Блок, – развесили свои сны по всему городу, как тонкую морозящую паутину, сетчатые дождевые покрывала. От бушующих волн Медного всадника и зелено-бледных пушкинских небес до блоковской желтой зари и болотной нежыти – город все тот же: сырой, торжественный, бедный, не по-человечески прекрасный, не по-людски страшенький, неприспособленный для простой человеческой жизни.

Я непременно куплю в Питере квартиру: я не хочу простой человеческой жизни. Я хочу сложных снов, а они в Питере сами рождаются из морского ветра и сырости. Я хочу жить на высоком этаже, может быть, в четвертом дворе с видом на дальние крыши из окна-бойницы. Дальние крыши будут казаться не такими ржавыми, какие они на самом деле, и прорехи покажутся таинственными тенями. Вблизи все будет, конечно, другое, потрепанное: загнутые ветром кровельные листы, осыпавшаяся до красного кирпича штукатурка, деревце, выросшее на заброшенном балконе, да и сам балкон с выставленными и непригодившимися, пересохшими до дровяного статуса лыжами, с трехлитровыми банками и тряпкой, некогда бывшей чем-то даже кокетливым.

Особенно хочется дожидаться в питерской квартире поздней осени, когда на улице будет совершенно непереносимо: серые многослойные тучи, как ватник водопроводчика, сырость, пробирающая до костей, секущий, холодный ингер-манландский дождь, длинные лужи, глинистые скверы с пьяными. Потом ранняя, быстрая тьма, мотающиеся тени деревьев, лиловатый, словно в мертвецкой, свет фонарей и опасный мрак подворотен: второй двор, третий двор, ужасный четвертый двор, только не оглядываться.

Да, и еще длинные боковые улицы без магазинов, без витрин с их ложным, будто бы домашним уютом. Слепые темные тротуары, где-то сбоку простроченные глумящими, мокрыми, невидимыми деревьями, только в конце, далеко, в створе улицы – блеск трамвайного рельса под жидким, красным огнем ночного ненужного винного бара.

Кто не бежал, прижав уши, по такой страшной бронхитной погоде, кто не промокал до позвоночника, кто не пугался парадных и подворотен, тот не оценит животное, кухонное, батарейное тепло человеческого жилища. Кто не слышал, как смерть дует в спину, не обрадуется радостям очага. Так что, если драгоценное чувство живой жизни притупилось, надо ехать в

Питер в октябре. Если повезет, а везет почти всегда – уедешь оттуда полуживой. Для умерщвления плоти хорош также ноябрь с мокрым, ежеминутно меняющим направление снеговым ветром, а если не сложилась осенняя поездка – отлично подойдет и март. В марте лед на реках уже не крепок, не выдержит и собаки, весь покрыт полыньями, проталинами, синяками, но дует с него чем-то таким страшным, что обдирает лицо докрасна за шестьдесят секунд, руки – за десять.

Непреренно, непременно куплю себе квартиру в Питере, слеплю себе гнездо из пуха, слюны, разбитых скорлупок своих прежних жизней, построю хижину из палочек, как второй поросенок, Нуф-Нуф. Натаскаю туда всякой домашней дряни, чашек и занавесок, горшков с белыми флоксами, сяду к окну и буду смотреть чужие сны.

Окон в Питере никогда никто не моет. Почему – непонятно. Впервые я обратила на это внимание в конце восьмидесятых годов, когда началась перестройка. Ясно, что тогда телевизор было смотреть интереснее, чем выглядывать в окно: кого еще сняли?.. что еще разрешили?.. Потом интерес к политике угас, все сели, как замороженные, смотреть мыльные оперы, так что тут тоже стало не до ведер с мыльной водой. Потом жизнь поехала в сторону полного разорения, денег не стало, потолки осыпались на скатерти, а обои свернулись в ленты, и мыть окна стало как-то совсем неуместно. Кроме того, Питеру всегда была свойственна некоторая надменность, горькое презрение к властям всех уровней, от жэка до государя императора: если «они» полагают, что со мной можно так обращаться, то вот вам, милостивый государь, мое немывое окно, получите-с. Но возможны и другие объяснения: нежелание смотреть чужие сны, смутный протест против того, что куда ни повернешь – всюду натыкаешься глазом на чужое, на неродное, на построенное не для нас. Или, потеряв статус столицы, Питер опустился, как дряхлеющая красавица? Или в ожидании белых, томительных ночей, выпивающих душу, жители копят пыль на стеклах, чтобы темней было спать? Или же это особое питерское безумие, легкое, нестрашное, но упорное, как бормотание во сне? Когда я осторожно спросила свою питерскую подругу, почему она не моет окон, она помолчала, посмотрела на меня странным взглядом и туманно ответила: «Да у меня вообще ванна в кухне...»

Эта была правда, ванна стояла посреди огромной холодной кухни, ничем не занавешанная, но в рабочем состоянии, при этом в квартире – естественно, коммунальной, – жило двенадцать человек, и, по слухам, мылись в этой ванной, не знаю уж как. И, наверно, это было как во сне, когда вдруг обнаруживаешь, что ты голый посреди толпы, и этого никак не поправить по каким-то сложным, запутанным причинам.

Как и полагается лунатикам, петербуржцы гуляют по крышам. Существуют налаженные маршруты, вполне официальные, и можно собраться небольшой группой и отправиться с небесным поводырем на экскурсию, перебираясь с дома на дом по каким-то воздушным тропам; есть и частные прогулки: через лазы, слуховые окна, чердаки, по конькам крыш, на страшной для бодрствующего человека высоте, но ведь они спят, и им не страшно. С высоты они видят воду, балконы, статуи, сирень, третьи и четвертые дворы, далекие шпили – один с ангелом, другой с корабликом, развешанное белье, колонны, пыльные окна, синие рябые кастрюли на подоконниках, и тот особенный воздух верхних этажей, то серый, то золотой, смотря по погоде, – который никогда не увидишь в низинах, у тротуаров. Мне кажется, что этот воздух всегда был, висел там, на семиэтажной высоте, висел еще тогда, когда города совсем не было, надо было только построить достаточно высокие дома, чтобы дотянуться до него, надо было только догадаться, что он плавает и сияет вон там, надо было запрокинуть голову и смотреть вверх.

Если не запрокидывать голову, то в Питере вообще нечего делать: асфальт как асфальт, пыль или лужи, кошмарные парадные, пахнущие кошками и человеком, мусорные баки, ларьки с кефиром «Петмол». Если же смотреть вверх, от второго этажа и выше, то увидишь совсем другой город: там еще живут маски, вазы, венки, рыцари, каменные коты, раковины, змеи,

стрельчатые окна, витые колонки, львы, смеющиеся лица младенцев или ангелов. Их забыли, или не успели уничтожить мясники двадцатого века, гонявшиеся за людьми. Один, главный, все кружил по городу мокрыми октябрьскими вечерами, перепрыгивался, таился, и в ночь на 25 октября, как нас учили в школе, заночевал у некоей Маргариты Фофановой, пламенной и так далее, а может быть, вовсе и не пламенной, – тут вам не Испания, – а обычной, водянистой и недалековидной дамы с лицом белым и прозрачным, как у всех, кто умывается невской водой. На рассвете, подкрепившись хорошим кофе и теплыми белыми булочками с вареньем из красной смородины, он выскользнул в дождевую мглу и побежал в Смольный: составлять списки жертв, прибирать к рукам то, что ему не принадлежало, ломать то, что не строил, сбивать лепнину, гадить в парадных, сморкаться в тюль, разорять чужие сны, а в первую очередь расстреливать поэтов и сновидцев. Хорошо ли ему спалось на пуховичках у Фофановой, или он весь извертелся, предвкушая мор и глад? Сладко ли спалось пламенной Маргарите, или же к ней приходил предзимний кошмар, суккуб с членами ледяными как ружейные стволы? Этого в школе не рассказывают, там вообще ничему важному не учат, – ни слова, например, о конструировании и размножении снов, а между тем, есть сон, в котором Маргарита, увидев, в свою очередь, другой сон, – какой, мне отсюда плохо видно, мешает угол дома, – тихо встает с лежанки, прихватив с собой подушку-думочку, – небольшую, размером как раз с лицо, тихо входит к похрапывающему, жуткому своему гостю и во имя всех живых и теплых, невинных и нежных, ни о чем не подозревающих, во имя будущего, во имя вечности плотно накладывает плотную, жесткую, бисерными розами вышитую подушечку на рыжеватое рыльце суккуба, на волосатые его дыхательные отверстия, насморочные воздухопроводы, жевательную щель. Плотноплотноплодно накладывает, наваливается пламенным телом, ждет, пока щупальца и отростки, бьющиеся в воздухе, ослабеют и затихнут. И город спасен.

Никакие сны не проходят бесследно: от них всегда что-нибудь остается, только мы не знаем, чьи они. Когда на Литейном, в душном пекле лета, глаз ловит надпись на табличке в подворотне: «Каждый день – крокодилы, вараны, рептилии!» – что нужно об этом думать? Кто тут ворочался в портвейновом кошмаре, кто обирал зеленых чертей с рукава? Кто послал этот отчаянный крик и откуда – с привидевшейся Амазонки, с призрачного Нила, или с иных, безымянных рек, тайно связанных подземной связью с серыми невскими рукавами? И чем ему можно помочь?

Никому ничем нельзя помочь, разве что жить здесь, видеть свои собственные сны и развешивать их по утрам на просушку на балконных перилах, чтобы ветер разносил их, как мыльную пену, куда попало: на верхушки тополей, на крыши трамваев, на головы избранных, несущих, как заговорщики, белые флоксы – тайные знаки возрождения.

Белые стены

Аптекарь Янсон в 1948 году построил дачу, чтобы сдавать городским на лето. И себе сделал пристроечку в две комнаты, над курятником, с видом на парник. Хотел жить долго и счастливо, кушать свежие яички и огурчики, понемножку торговать настойкой валерианы, которую любовно выращивал собственными руками; в июне собирался встречать ораву съемщиков с баулами, детьми и неуправляемой собакой. Господь судил иначе, и Янсон умер, и мы, съемщики, купили дачу у его вдовы.

Все это было бесконечно давно, и Янсона я никогда не видела, и вдову не помню. Если разложить фотографии веером, по годам и сезонам, то видно, как бешено множится и растет чингисханова орда моих сестер и братьев, как дряхлеет собака, как разрушается и зарастает лебедой уютное янсоновское хозяйство. Где был насест, там семь пар лыж и санки без счету, а на месте парника валяемся и загораем молодые мы, в белых атласных лифчиках хрущевского пошива, в ничему не соответствующих цветастых трусах.

В 1968 году мы залезли на чердак. Там еще лежало сено, накошенное Янсоном за год до смерти Сталина. Там стоял большой-большой сундук, наполненный до краев маленькими-маленькими пробочками, которыми Янсон собирался затыкать маленькие-маленькие скляночки. Там был и другой сундук, кованный, страшно сухой внутри на ощупь; в нем чудно сохранились огромные легкие валенки траурного цвета, числом шесть. Под валенками лежали, аккуратно убранные в стопочку, темные платья на мелкую, как птичка, женщину; под платьями – уже распадающиеся на кварки серо-желтые кружева, – их можно было растереть пальцами и просыпать на дно сундука, туда, где лежала, растертая и просыпанная временем, пыль неопознаваемого, неизвестно чьего, какого-то чего-то.

В 1980 году, в припадке разведения клубники, мы перекопали бурьян в том углу сада, где, по смутным воспоминаниям старожилов, некогда цвел и плодоносил аптекарский эдем. На некоей глубине мы откопали некий большой железный предмет, испугались, выслушали заверения тех же старожилов, что это не снаряд, потому что во время войны сюда ничего не долетало, опять испугались и зарыли это, притоптав. Когда перекладывали печку, ничего янсоновского не нашли. Когда меняли печную трубу – тоже. Когда кухня провалилась в подпол, а рукомойник в курятник, – очень надеялись, но напрасно. Когда заделывали огромную дыру, оставленную пролетариатом между совершенно новой трубой и абсолютно новой печью, – нашли брюки и обрадовались, но это были наши же собственные брюки, потерянные так давно, что их не сразу опознали. Янсон рассеялся, распался, ушел в землю, его мир был уже давно и плотно завален мусором четырех поколений мира нашего. И уже подросли такие возмутительно новые дети, которые не помнили украденной любителями цветных металлов таблички «М. А. Янсонъ», не кидались друг в друга сотнями маленьких-маленьких пробочек, не находили в зарослях крапивы белый зонтик заблудившейся, ушедшей куда глаза глядят валерианы.

Летом 1997 года, обсчитавшись сдуру и решив, что даче нашей исполняется полвека, мы решили как-нибудь отпраздновать это событие и купили белые обои с зелеными веночками. Пусть, подумали мы, в том закуте, где отваливается от стены рукомойник, где на полке стоят банки засохшей олифы и коробки со слипшимися гвоздями, – пусть там будет Версаль. А чтобы дворцовая атмосфера была совсем уж роскошной, мы старые обои отдерем до голой фанеры и наклеим наш помпадур на чистое. Евроремонт так евроремонт.

Под белыми в зеленую шашечку оказались белые в синюю рябу, под рябой – серовато-весенние с плакучими березовыми сережками, под ними лиловые с выпуклыми белыми розами, под лиловыми – коричнево-красные, густо записанные кленовыми листьями, под кленами открылись газеты – освобождены Орел и Белгород, праздничный салют; под салютом – «народ требует казни кровавых зиновьевско-бухаринских собак»; под собаками – траурная

очередь к Ильичу. Из-под Ильича пристально и тревожно, будто и не мазали их крахмальным клейстером, глянули на нас бравые господа офицеры, препоясанные, густо усатые, групповой снимок в Галиции. И уже напоследок, из-под этой братской могилы, из-под могил, могил, могил и могил, на самом дне – крем «Усатин» (а как же!), и: «Все высшее общество Америки употребляет только чай *Kokio* букет ландыша. Склады чаев Дубинина, Москва Петровка 51», и: «Отчего я так красива и молода? – Ионачивара Масакадо, выдается и высылается бесплатно», и: «Покупая гильзы, не говорите: “Дайте мне коробку хороших гильз”, а скажите: ДАЙТЕ ГИЛЬЗЫ КАТЫКА, лишь тогда ВЫ можете быть уверены, что получили гильзы, которые не рвутся, не мнутся, тонки и гигиеничны. ДА, ГИЛЬЗЫ ТОЛЬКО КАТЫКА».

Начав рвать и мять, мы всё рвали и мяли слои времени, ломкие, как старые проклеенные газеты; рвали газеты, ломкие, как слои времени; начав рвать, мы уже не могли остановиться, – из-под старой бумаги, из-под наслоений и вздутий сыпалась тонкая древесная труха, мусорок, оставшийся после древоточца, после мыши, после Янсона, после короедов, после мучного червя с семейством, радостно попирававших сухим крахмалом и оставивших после себя микрон воздушной прокладки между напластованиями истории, между тектоническими плитами чьих-то горестей.

Литература – это всего лишь буквы на бумаге, – говорят нам сегодня. Не-а. Не «всего лишь». В этой рукомойне, пахнувшей мылом и подгнившими досками, была спальня аптекаря Янсона; намереваясь жить скромно, долго и счастливо, он любовно оклеивал ее сбереженными с детства газетами, – стопочка к стопочке, пробочка к пробочке, ничего не надо выбрасывать, а сверху обои, – аккуратный, должно быть, и чистый, обрусевший швед, он уютно и любовно устроил себе спаленку, – частный уголок, толстая дверь с тяжелым шпингалетом, под полом – свои, чистые куры. В смежной каморке, с балконом, с окном на закат, на черные карельские ели, – столовая-гостиная: можно кушать кофе с цикорием, можно, сидя в жестком лютеранском кресле, думать о прошлом, о будущем, о том, как уцелел, не сгинул, как растит лекарственные травы, о том, как пройдет по первому снегу в легких черных валенках. Вот достанет из сундука – и пройдет, оставит следы.

Мы сорвали всю бумагу, всю подчистую, мы прошлись наждачной шкуркой по босым, оголившимся доскам; азарт очищения охватил все четыре поколения, мы терли и терли. Мы правда старались: мы не жалели ногтей и скребков; местный магазин, пребывавший тридцать лет в коматозном оцепенении и никогда не предлагавший покупателям ничего, кроме резиновых сапог не нашего размера и карамели «подушечка с повидлом», в новую эпоху ожил и завалил полки продукцией «Джонсон и Джонсон»; Джонсоны против Янсона; а что же может поделать один Янсон против двух Джонсонов? Какие-то быстродействующие очистители и уничтожители – аэрозоли для стирания памяти, кислоты для выведения прошлого.

Мы выскребли все: и белые по лиловому розы, и кровавых собак, и клубы морозного дыхания в очереди к сыну инспектора народных училищ, и ряды завтрашних инвалидов и смертников, доверчиво, за неделю до увечья или смерти накупивших круглых жестяных банок шарлатанского «Усатина» в расчете на любовь и счастье, подобно аптекарю Янсону, запасшему много валенок для будущих, уже не понадобятся ног.

Мы протерли доски добела, до проступившего рисунка годовых колец на скобленном дереве. Мы дали стенам просохнуть. Потом мы взяли большую кисть, обмакнули ее в синтетический, очень цепкий, с гарантией, клей и как следует, без пузырей – по инструкции, – промазали клеем изнаночную сторону версальских обоев. Потом мы сложили обойные полосы пополам – клей на клей, – отнесли в спальню аптекаря Янсона, где, опять же по инструкции, снова развернули полосы во всю длину и, крепко нажимая «старой ветошью» (неузнаваемой трикотажной тряпкой, некогда бывшей неизвестно чем), притерли свежие, белые в веночках обои к свежей, еще пахнувшей Джонсоном и Джонсоном – обоими Джонсонами – стене. Клей взялся, европеец не подвел, обои прилипли как страстный поцелуй, без люфта.

И вообще лето под Питером было хорошее, сухое, жаркое. Все быстро сохло. Наши обои, например, наутро уже выглядели так, будто они тут всегда и были: без темных пятен, без ничего такого. Оказалось, что это не очень сложно – обдирать и клеить. Эффект, конечно, вышел не совсем дворцовый и, честно говоря, совсем не европейский, – ну, промахнулись, с кем не бывает. Не то, чтобы не доставало артистизма, а – прямо скажем – глаза бы наши не глядели, – чего уж там – получился сарай в цветочках. Собачья будка. Приют убогого, слепорожденного чухонца. В куске все смотрится не совсем так, как на стене, верно? Вот если купить совсем, совсем белые обои – без рисунка, – а сейчас ведь все можно достать, – вот тогда будет очень хорошо. И этот наш ошибочный, виньеточный, совершенно случайный и непредусмотренный узор и позор укроется под белым, ровным, аристократически-безразличным, демократически-нейтральным, ко всему равнодушным, спокойным, приветливым, никого не раздражающим слоем благородной, буддийской простоты.

И в городе, у себя дома каждый делает то же самое. Белое – это просто и благородно. Ничего лишнего. Белые стены. Белые обои. А лучше – просто малярная кисть или валик, водоэмульсионная краска или штукатурка, – шарах – и чисто. Все сейчас так делают. – И я так сделаю. – И я.

И я тоже. Мне нравится белое! Начать жизнь сначала! Не сдаваться! На цыпочках, осторожно, чтобы не побеспокоить, чуть заметной тенью, в шерстяных носках по новенькому линолеуму, с валенками подмышкой, с букетом звездчатой валерианы в руках, с пробочками и скляночками в оттопыренных карманах, с усатыми и бритыми инвалидами всех времен в испуганной памяти, выходить вонь Михаил Августович Янсонъ, шведъ, лютеранинь, мещанинь, гражданинъ, аптекаръ – трудолюбивый садовник, запасливый и аккуратный человек, без лица, без наследников, без примет, – Михаил Августович, муж маленькой жены, житель маленьких комнат, чуточку смелый, но очень скрытный хранитель запрещенного прошлого, свидетель истории, добела ободранной нами со стен его бывшей каморки. Михаил Августович, про которого я ничего не знаю и теперь уже никогда, никогда не узнаю, – кроме того, что он закопал непонятное железное в саду, спрятал ненужное тряпичное на чердаке, укрыл недопустимое, невозвратимое под обоями спальни. Своими руками я содрала последние следы Михаила Августовича со стен, за которые он цеплялся полвека, – и, ненужный больше ни одному человеку на этом новом, отбеленном, отстиранном, продезинфицированном свете, он ушел, наверное, навсегда и непоправимо, в травы и листья, в хлорофилл, в корни сорняков, в немую, вечно шумящую на ветру, безымянную и блаженную, господню фармакопею.

Как мы были французами

Я, собственно, вполне могла бы родиться француженкой: мои дедушка с бабушкой убежали во Францию в 1919 году. Чемодан – корабль – Марсель. Бежали из Одессы, едва ли не на последнем пароходе, – взятки, давка, крики, потерянные чемоданы, потерявшиеся дети, общая паника. С ними был мой двухлетний папа. Маленький беженец вез с собой пузырек с сухими мухами – любимую игрушку, и волновался за их сохранность: «где мухочки мои?» Мухочки благополучно прибыли в Византию, а потом, вместе с людьми, пересели на пароход, идущий во Францию. Деньги кончились, а ничтожные остатки их бабушка разложила в три конверта: 1) на пароход от Константинополя до Марселя, 2) на поезд от Марселя до Парижа, 3) на буйабес в марсельском порту. А дальше уж – как-нибудь.

Таков русский эмигрант, таков вообще русский человек: пусть позади огонь, смерчи, рухнувшие царства, пусть впереди – нищета и полная неизвестность, но как же не поесть буйабесу-то. Сойдя на берег, оборванный и в пыли, волоча свое барахлишко, опаленное вселенским пожаром, русский человек бредет в лучшее место на свете – французский ресторан, трактир, бистро. Ибо последней нашей пристанью, наградой за все тяготы, концом всех дорог была и будет Франция. Все европейские пути, как известно, ведут в Рим, а чей-то длинный язык доводит и до Киева, но нам туда не надо. «Вот он, от века назначенный, наш путь в Дамаск», но нам не надо и туда. Нам надо в Париж! Русский мечтатель, русский скиталец перефранцузит всякого француза, перепарижанит любого парижанина: тот живет себе, поживает, и уже никуда не стремится: ну разве что в бутик или в парикмахерскую, а мы стремимся до утраты сил: в Париж, в Париж!

Это наш город, хотя нас никто сюда не звал. Это наша история: и Луи Каторз, и Мария-Антуанетта, и революция с гильотиной, и Шарлотта Корде, убившая Марата в ванне, – совершеннейшие свои. Корсиканское чудовище нам как родное: оно стало коньяком и тортиком, уютненько легло в коробочки и бутылочки, а то, что чудовище хотело нас завоевать и при этом сгорела вся Москва, – ай да ладно, ну кто считается? Приходите еще. Или лучше мы к вам.

Это наша вина, это наша еда, – в идеале, конечно. Дома мы уж как-нибудь перебиваемся с водки на картошку, знаем толк в копченой и малосолевой рыбе, понимаем тонкости квашения, фыркаем на поддельно-малосолевые огурчики, предлагаемые трудолюбивыми кавказскими народами, не знакомыми ни с дубом, ни с хреном, ни со смородиновым листом; мало-солим сами. Дома мы печем пироги с капустой, варим щи и борщи, наворачиваем по полной и просим еще и вторую порцию – вкусно же, черт!.. Но это все жизнь земная, здешняя, посюсторонняя. А там, а там, в голубой дымке, на Больших Бульварах, в Латинском квартале, в Пасси, на улице Шерш-Миди, в Сен-Жермен-де-Пре!.. Там такое! Такое!.. Собственно, трудно даже сказать, какое, потому что дело же не только в исходных продуктах – трюфели там, устрицы, гусиная печенка, это уже просто банально, – а в том, как, что и с чем сплетено, в сочетании несочетаемого, в искусстве невозможного, в смелости и тонкости, в особом, что ли, национальном демоне галльского народа: соедините вспыльчивость, скупость, терпение, эгоизм, философичность, чувственность, блеск, взбивайте веселкой полторы тысячи лет, – тогда и будет французская, ни с чем не сравнимая кухня.

Но сколько мы ни перенимаем французские блюда, сколько ни приспособливаем свой стол к их рецептуре, а все получается не то. Было жарко и душно, и Мегрэ выпил полный стакан рома, – пишет Сименон. Вот нет другой такой нации, которая стала бы лечить грипп, да еще при температуре под сорок, противным, сладким ромом. По-видимому, их голова болит по-другому. И ход мыслей в ней иной: «а завтра, раз он болен гриппом, мадам Мегрэ приготовит ему крем-брюле». Знаменитый комиссар целый день пересаживается из бара в бар, выпивая тут рюмку кальвадоса, здесь виски, там стакан белого вина, «но редко приходит домой

нетрезвым». Наш человек после такого ерша возвращался бы домой на бровях, и его «мадам» встречала бы его словами: «опять нажрался, козел?» Потому что пил бы наш комиссар с целью одуреть, французский же пьет для вкуса. И ест он свою французскую кухню не от случая к случаю, а каждый день. И мадам приготовит ему сегодня «овощной суп, бараньи почки и взбитые сливки», а завтра еще что-нибудь сложное и упоительное, а не будет ворчать: «ешь, что дают».

Моя бабушка в Париже наловчилась не просто готовить, но мыслить французскими категориями. Например, она всегда делала майонез сама. Я тоже пробовала, но мне не хватало ни терпения, ни тонкости. Температурный режим, добавление продуктов по капле – ой, это было не для меня. Моего искусства хватало разве что на то, чтобы сварить таз макарон. И кетчупом сверху, кетчупом. В крепкий и прозрачный мясной бульон бабушка предлагала положить анчоус – по штучке в тарелку. Ну куда же рыбу к мясу? – думала я. Если в холодильнике был один лук, то понятно было, что еды нет. А бабушка делала луковый суп. Украсить желе из сливочного риса грушами, сваренными с сахаром, я и сейчас не решаюсь. Я так и не родилась француженкой: через четыре года эмиграции наша семья вернулась в страну вареной картошки, и в школе нас учили: человек не живет, чтобы есть, но ест, чтобы жить. А зачем же он живет? – а чтобы бороться за счастье всего человечества. Между тем, счастье всего понимающего человечества – французские сыры – можно без всякой борьбы раздобыть в Париже на каждом углу, а любители ездят на рю Муфтар – на «Муфтарку», как ее называют русские парижане, специальную сырную улицу, знаменитую дешевизной и разнообразием. Там я однажды купила шестнадцать сортов сыра – в память о бабушке и для наступления общего счастья – и храню кассовый чек, на котором напечатано: «Вас обслуживала КАТЕРИНА, которая благодарит вас». Благодарить-то должна я, потому что Катерина, видя мою дремучесть, взялась мною руководить и показала, что надо с чем есть: с вот этим вонюче-портяночным козьим, завернутым в какой-то лист – мармелад из инжира, а вон с тем твердым – хлеб с пряностями, но на самом деле он не хлеб и не с пряностями, а просто так называется, – но на дальнейшее понимание моего французского языка не хватило. (Хлеб оказался кексом со сложнейшим ароматом, из всего состава которого я опознала только апельсиновую цедру.) Список же сыров на чеке читается, как список гомеровских кораблей: Реблошон, Морбье, Бофор, Кабри Арьежуа, Мотэ, Банон Фей, Пон-ль-Эвек, – какие-то вечные моря, паруса, проливы, фата-морганы, «старые пристани Европы», далекая голубая дымка над Лютецией, иные зовы, иные люди.

Мы французам совершенно не нужны, а они нам необходимы. Мы к ним стремимся, мы липнем, а они в лучшем случае к нам равнодушны, в худшем – отшатываются. Мы любим чужое, иностранное, а они – свое, французское. Мы знаем: если что – эмигрируем в Париж, сядем на веранде кафе, нога на ногу, будем обмахиваться газетой, – фу, ну слава богу, доехали. Наконец-то мы дома. Так... Что это они тут без нас понастроили? Зачем Бобур, это тут ни к чему. Пирамида во дворе Лувра – ну кто разрешил. Арабов развелось сверх меры – гнать их в шею. Это наше место. Это наш город. Посмотрите, какие чудные мансарды. Вон то окошко – как раз для меня. Я хочу выходить на вон тот балкон. «В дождь Париж расцветает, как серая роза», – писал Максимилиан Волошин. Зачем же все дома почистили пескоструями, сделав розу белой? Написано: серая, пусть будет серая. Мы лучше знаем. Загубив свои города плесенью и новоделами, мы хотим сохранить Париж таким, каким его воспели наши же поэты. «Ему обещает полмира, а Францию – только себе».

Мне не удалось родиться француженкой: буйабес был давно забыт, денег все не было, есть было нечего, и однажды дед сказал бабушке, чтобы она пошла в аптеку и на последние гроши купила яду на всех: умрем все вместе. Бабушка охотно согласилась, прогулялась к мяснику, купила на все франки бифштеков и они отлично поужинали. В Париже глупо кончать с собой, когда можно поужинать. А потом они все равно вернулись в Россию.

И ничего от нас в Париже не осталось, кроме сухих «мухочек». Они рассыпались в серебряную пыль, и молекулы ее, наверно, и сейчас гоняет ветер над крышами лучшего города, который мы смогли придумать.

Париж кармический

В моей жизни, на моей дорожной карте Париж помечен каким-то особым красным маркером: то ли карма такая, то ли феньшуй боком вышел, то ли католики сглазили, то ли кто напустил порчу, наложил заклятье, но вот именно в Париже незримые темные силы злобно бросаются ко мне, чтобы напакостить необычным, изощренным способом.

Ну вот, например, приехала я в Париж. Апрель. Иду в магазин купить хорошего чая, к которому я пристрастилась, бросив курить. Как писала в своих мемуарах Аполлинария Сулова, муза Достоевского и эринния Вас. Вас. Розанова, «чай заменяет мне все: любовника, друга», *etc.* Что-то в этом есть.

Поскольку я Телец, а Телец любит опт, я закупила чай на годы вперед – три с половиной килограмма, чтобы быть точной. Пить, раздавать, приходиться со своим чаем в гости, дарить на Новый год в хорошенькой упаковочке. Иду, стало быть, волочу тючок.

А тут рядом с чайным магазином бутик приветливо так расположился, хороший такой бутик. Там все шелковое, моего размера и доступной цены; а раз цена доступная, то, понятное дело, покупаешь тучу вещей, горы нужного и вавилоны ненужного, ибо при понижении цены алчность обостряется, как мы все хорошо знаем. Купила блузочку цвета плаща Богородицы, другую – мятного цвета, хотя у меня такая уже была и притворялась платьем, но разве перед мятным цветом устоишь; купила третью цвета «баклажан в ночи». Пиджачок совершенно ненужный купила в связи с тем, что он был такой, знаете, не то чтобы белый, а как будто кто-то наелся вареного лосося и дыхнул на сметану. Такого вот цвета.

А денег с собой на все дело не было, оставила в гостинице. Я же только за чаем. А хозяин бутика такой тоже весь стильный и прекрасный, лет восемьдесят ему, но еще ого-го, волосы серебряные, шарф. Если ветер подует, или осень пришла, французу не страшно, у француза есть шарф. Когда зима, это, конечно, сложнее: придется поднять воротник.

Я хозяину говорю: ждите, я за деньгами. Он так: жду, понимаю. Я так глазами: верь, я вернусь. Он так бровями: какие могут быть сомнения.

Уходила со свернутой на спину на 180 градусов головой: позади еще осталась масса прекрасного и не купленного: платье цвета «брызги белого на черном», ай, что говорить.

Вот вернулась я в гостиницу, чай сбросила, деньги хватать, в голове мечты, иду себе, пританцовывая и чувствуя разные чувства: Париж! Париж! Бульвар Сен-Жермен, и солнышко светит прелестно так, по-апрельски. Смотрю – стоит какой-то месьё посреди тротуара, ведет беседу с какими-то господами, а в руках у него длинная белая палка, и он этот палкой вертит: то взмахнет ею, то поднимет как удочку, то справа налево... Как странно, подумала я, проходя в метре от него и приветливо так, по-апрельски, по-парижски ему улыбнулась. Как странно... Но додумать свою мысль не успела: месьё с размаху крутанул своей палкой, сбил меня ею с ног, и я со всего размаха растянулась на асфальте бульвара Сен-Жермен, моего любимого, кстати. Хотя какая разница.

Сначала я упала на колени, проехала на них, сдирая колготки и кожу, а потом, стало быть, и распласталась, сумка в сторону, евро веером, айпад отъехал, как большая плитка шоколада. Все как в стихотворении «Рано утром на Тверской». Парижский народ тоже не реагирует.

Тут меня, конечно, разобрал дикий смех: лежу и хохочу. До меня дошло: месьё, махавший странной белой палкой, был слепой, и его собеседники тоже были слепыми: у них у всех тоже – осенило меня – были в руках белые палки. И вот сквозь смех я слышу, как он говорит довольным таким голосом: «Кажется, я кого-то сбил». А товарищи, тоже довольными головами: «О!» Хорошо, значит, утро началось. Может, и дальше день хорошо пойдет.

Ну, я собрала себя в кучку, осмотрела раны и дохромала до ближайшей аптеки, где мне промыли колени и остановили кровь. Осмотрела себя в зеркале: лохмотья колготок хорошо

гармонировали с моим изгвазданным манти и полуоторванным его рукавом. Хозяин бутика, которому я вручила черными кровотокащими руками свои перепачканные евро, тоже погасил во взоре небольшое изумление: уходила дамой, вернулась бомжом.

Можно подумать, это все чисто случайно. Хотя я склонна усматривать повсюду знаки и символы. Возможно, Вселенная хотела мне сказать: «смотри, куда идешь», или: «ты падешь жертвой слепых страстей», или, проще: «куда тебе столько кофточек, тем более, что синяя тебе мала». Но в других-то городах ничего такого ведь не случается? Это Париж, специальное такое место.

И вот буквально на днях. Опять мне в Париж, проездом. Всего-то часа два в Париже: переночевать и ехать дальше. Времени в обрез, так что демоны вцепились в меня не откладывая. Прилетела я на ночь глядя. Впорхнула с 20-килограммовым чемоданом в поезд (вот спросите меня, зачем мне столько добра на тихом курорте? Спросите! Никто вам не ответит. Я потом удивляюсь, откуда у меня гематомы на пальцах), – впорхнула, говорю, вздохнула, говорю, и вроде бы уже все хорошо. Еду. Светло. Вокруг люди.

Как вдруг приходит мне смска: «Борис, дверной звонок не работает, звони на телефон. Ася».

У меня нет знакомых Борисов, Гребенщиков не в счет, да и Аси обходят меня стороной. Кто эти люди? Или это не люди? Демоны, может, переговариваются? Знаки подадут? Двери, значит. С дверями что-то не то. Я бодро откликнулась смской: «Ася, ошиблись номером!», но никто не отозвался. Демоны не отзываются.

Поезд, по плану, доходил в аккурат до моей гостиницы, ни пересадок, ничего. Специально я так рассчитала, чтобы в глухую ночь не подвергаться превратностям.

Еду. И тут у меня за спиной, в пространстве между вагонами, начинается серия хлопков. Как бы небольшие взрывы. Поезд останавливается. Стоит. Медленно ползет дальше. Снова стоит в туннеле. Едет. Опять хлопки, все громче и чаще. Народ пригибается и смотрит в темные окна с опаской. В электрощите над моей головой зажигаются тревожные кнопки. Машинист по громкой связи бурчит что-то неразборчивое, народ начинает волноваться, поздние японцы волнуются: что он сказал? что он сказал? Наконец, совсем ужасный грохот, свет гаснет, поезд доползает до какой-то платформы, и граждане торопливо покидают вагоны. Выбежала и я со своими двадцатью килограммами. Где это мы? – спрашиваю. А с платформы говорят: «Это Гар-дю-Нор, билет».

Гардюнор так Гардюнор, такси возьму. Пошла по стрелкам к выходу. Толпа рассосалась, в полутемном вокзале я одна, всё какие-то уровни, эскалаторы, еще уровни, а навигация хуже чем у нас, честное слово. Стрелки уводят в тупики, в глухие стены, в лестницы без эскалаторов. Наконец забралась я на какой-то верхний этаж: стрелки обещали мне выход в огни Парижа, обещали такси и людей. А выход у них там из метро по билету. Сунешь билетик в автомат – двери откроются и выпустят тебя. Высокие такие пластмассовые прозрачные двери. Вот я сунула билетик, прошла, волоча чемодан, а двери раз! – и схлопнулись. Фотоэлемент посчитал мой чемодан за второго человека, безбилетного. За безбилетника створки руку мне не откусили – все же сейчас гуманность, не всем назначают гильотину, – там щель приличная оставлена: чемодан я держу, вижу его, но доступ к нему утрачен.

А в этот чемодан я только что, в аэропорту Шарль де Голль, собственноручно уложила компьютер, айпад, паспорт, все деньги, все карточки, телефон и вообще все ценное. Чтобы не держать это в сумочке в парижской-то ночи.

И вот я стою в пустыне, на каких-то полутемных и пустынных задворках, ночью, отделенная от всего своего имущества непроницаемой, хоть и прозрачной стеной. Видит око, да зуб неймет. Думаю, что какие-то сходные чувства переживает после смерти жадный богач: вот только что у тебя, мужик, все было. И вот уж ты в гробу, нематериальный такой, лучистый такой, а счета и имущество достались другим, ха-ха-ха.

Вот про что глухо переговаривались Борис и Ася.

Тут из полумрака сгустился негр. Он схватил мой чемодан, поднял его одной рукой высоко над перегородкой и опустил на моей, свободной территории. Я, конечно: гран мерси, мерси боку, но вслед за чемоданом негр и сам перемахнул через препятствие, не знаю уж как, и это мне совсем не понравилось.

Вы, говорит, не торопитесь? давайте знакомиться, общаться, дружить. – Очень, говорю, тороплюсь, а где тут такси у вас? – А уже первый час ночи, и вокруг глухие задворки, парковки, и тоскливая железнодорожная вонь, а там, вдали, где лица, тоже не совсем хорошо: «слышны крики попугая и гориллы голоса», как пели студенты технических вузов в моей юности и даже раньше того. Народец на улицы вывалил соответствующий, мечта либерала: трансвеститы, проститутки, понаехавшие и другие обездоленные с тяжелым детством и перспективой еще более тяжелой старости.

Я бегу туда, к спасительным трансвеститам и проституткам, а негр, поднимающий одной рукой двадцать килограммов выше головы, бежит за мной.

«Меня, – говорит, – зовут Жоакинто. Вы мадам или мадемуазель? Давайте немедленно общаться, разговаривать, вместе проводить время. Вы ведь не спешите? Вот мой номер телефона. Возьмите мой телефон. Почему вы не хотите брать мой телефон? Почему не хотите общаться? В чем причина?»

Вот как-то трудно сходу объяснить, в чем причина. Вот нелегко бывает подобрать точные слова.

Наконец ушла в отрыв. Вот стоянка такси. А в голове очереди вертится мелкий горбун, показывает каждому палец: один?.. Два пассажира?.. В нью-йоркских аэропортах всегда есть такой диспетчер, он сует тебе какие-то памятки, подгоняет машину поближе, направляет, следит, чтобы не собачились. Почем мне знать, может, и тут так?

Подходит моя очередь, горбун тыкает мне один палец и немедленно начинает вырывать у меня из рук сумочку и чемодан. Небольшая борьба, сумочку я удерживаю, горбун цепко ухватывает чемодан и волочит его два метра до машины. И меняет подъятый палец на сложенную ковшиком ладонь: плати за услугу. Ах ты дрянь такая, так я и знала. Хрен тебе, навязанные услуги я не оплачиваю, тем более, что деньги у меня только крупные, мелочи еще не натрясло.

Далее следует безобразная сцена: горбун лезет в машину с криками и плевками, я отталкиваю его ногой, он рвет дверцу машины, я ее вырываю и захопываю, визг и проклятья вослед отъезжающей, наконец, машине.

На моей могиле прошу начертать: «а также дралась с горбуном в Париже в полночь и победила». Ну, чтобы моя многогранность была полнее отражена.

Ладно, едем.

«Вас как везти?» – спрашивает таксист, тоже продукт распада колониализма.

«В смысле?.. Меня – везти. Обычно. До гостиницы».

«Нет, ну как вы хотите? Быстро?.. Или?..»

Час от часу не легче. Даже не хочу знать, какие тут возможны варианты. Дама села в такси, назвала адрес. Какие вопросы? Правда, подралась с горбуном, но это, наверно, привычная ночная жизнь. А что еще ночью ждать на вокзале от дамы, верно? Так какие вопросы?

Приехали. Таксист посмотрел на мою денежку, поскучнел.

– Сдачи нету.

А, ну это не пройдет, мы и в Иерусалиме такси брали, и, страшно сказать, в Шереметьево. Понимаем. Нет сдачи – посидим, подождем, пока появится. Включила внутреннего буддиста, жду, посидели.

Через три минуты сдача совершенно случайно нашлась. Пять евро в кармане у таксиста заваялось.

Ура. Почти дома. Очаровательный портье в гостинице, марокканский такой красавец, похожий на студента Сорбонны, ни паспорта ему вашего не надо, ни кредитки, вот ваш ключ, вот ваш лифт, и приятных вам снов!

И я вставляю магнитный ключ в дверь с блаженным ощущением того, что я доехала, добралась, все преодолела и уцелела, что я шагнула с корабля на сушу, что мне не страшны уже ни Борис, ни Ася, – нажимаю ручку двери, шаг вперед – раздается душераздирающий вопль. Номер занят! На секунду моим глазам открывается незапланированное зрелище: старый негр уминает в кровати какую-то даму. Или мадемуазель. А может, ни то, ни другое.

Логичным завершением вечера стало то, что я вылила дрожащими руками бокал вина на клавиатуру компьютера. Он прожил минуты четыре, и перед смертью силился мне что-то сказать. Сначала он сменил языковую раскладку, но то были не буквы, а какие-то таившиеся в нем знаки. Я отчаянно тыкала в кнопки, но русский текст неудержимо превращался в волны, звезды, знаки интеграла, полумесяцы и кораблики. Потом лист с текстом как бы свернулся в трубочку и ополз. А потом наступила темнота.

На привале

Как-то раз я должна была улететь из Парижа в семь утра. А стало быть, регистрация начиналась в пять. А значит, до того надо было хотя бы успеть надеть на себя хоть что-нибудь и дотащиться на слабых утренних ногах с чемоданом до стойки аэропорта.

Самое разумное было в этом аэропорту и заночевать. И действительно, там нашлась гостиница для вот таких вот угрюмых предрассветных случаев: удобная, безликая, стерильная камера, – постель да душ, – а что еще нужно человеку на привале посреди долгого пути.

Накануне ночевки, вечером, в летних сумерках я ехала в эту гостиницу на поезде. Париж со своими сиреневыми туманами, золотыми мостами, серыми и овсяными домами остался позади, пошли сначала красивые предместья, потом предместья некрасивые, потом отвратительные, потом гаражи, склады, какие-то развороченные дворы с шинами, дождь, поля, полегшие выжженные травы, линии электропередач, изнанки уродливых поселений и снова дождь, и какие-то долгие шоссе с фурами, грузовиками, экономными козявками европейских малолитражек. И из окна гостиницы тоже было видно шоссе с бесконечно несущимися и мелькающими машинами, и дождь, и пожухлая трава обочин, и предотъездная печаль.

Я посмотрела, насладилась этой печалью, задернула занавески, рухнула в постель и благодарно провалилась в черный сон до рассвета, до Часа Быка.

И утром, закрывшись от мира душой как устрица, чувствуя в себе лишь остаток ночного тепла и недоспанный сон, быстро, вместе с такой же нелюдими толпой – у некоторых на щеке еще оставался неразгладившийся отпечаток смятой подушки, – быстро добралась до аэровокзального поезда; двести метров показались мне километром булыжной дороги, но ничего; пять минут на поезде показались часом, но и это ничего; все было терпимо, все было выносимо, могло быть хуже. Родовая травма пробуждения была смягчена безликостью гостиничной комнаты; удар сознания, шок возвращения в этот мир, пощечина реальности утихли быстро, забылись в грохоте десятков чемоданных колес по рассветному асфальту: невольные спутники мои, такие же личинки, так же мрачно спешили прочь от ночного нашего инкубатора.

Это был аэропорт Шарль де Голль в селении Руасси.

И что же? С того дня взбесившийся сайт, на котором я заказываю гостиничные билеты, осатанело зовет меня туда, назад, в предвечные ячейки: «Татьяна! Спешите! Руасси ждет вас! Татьяна! Еще есть шансы! Татьяна, не упустите! Татьяна, последние номера!»

Он не зовет меня в Париж, в уютную клетушку в Сен-Жермене с зеленой веткой в окне и средневековым воркованием птицы на этой ветке, он не зовет в Андай, в номер, где из окна виден океан и голубые тучи Пиренеев, не зовет в Сан-Себастьян, где океан и дождь входят в окна, как в распахнутые ворота, и я, не вставая из-за стола, вижу, что там – отлив или прилив, и в соответствии с этим знанием пью кофе или вино. Нет, он хочет вернуть меня, запихнуть в клетку, в ячейку, в пчелиную соту, чтобы за окном шоссе и гаражи, и шины, и жухлая трава, и по траве, озираясь, бредет куда-то понаехавшее население Франции, качая дредами и скалясь белыми зубами.

Пустой день

Это утро не похоже ни на что, оно и не утро вовсе, а короткий обрывок первого дня: проба, бесплатный образец, авантитул. Нечего делать. Некуда идти. Бессмысленно начинать что-то новое, ведь еще не убрано старое: посуда, скатерти, обертки от подарков, хвоя, осыпавшаяся на паркет.

Ложишься на рассвете, встаешь на закате, попусту болтаешься по дому, смотришь в окно. Солнце первого января что в Москве, что в Питере садится в четыре часа дня, так что достается на нашу долю разве что клочок серого света, иссеченный мелкими, незрелыми снежинками, или красная, болезненная заря, ничего не предвещающая, кроме быстро наваливающейся тьмы.

Странные чувства. Вот только что мы суетились, торопливо разливали шампанское, усердно старались успеть чокнуться, пока длится имперский, медленный бой курантов, пытались уловить и осознать момент таинственного перехода, когда старое время словно бы рассыпается в прах, а нового времени еще нет. Радовались, как и все всегда радуются в эту минуту, волновались, как будто боялись не справиться, не суметь проскочить в невидимые двери. Но, как и всегда, справились, проскочили. И вот теперь, открыв сонные глаза на вечерней заре, мы входим в это странное состояние – ни восторга, ни огорчения, ни спешки, ни сожаления, ни бодрости, ни усталости, ни похмелья.

Этот день – лишний, как бывает лишним подарок: получить его приятно, а что с ним делать – неизвестно. Этот день – короткий, короче всех остальных в году. В этот день не готовят – всего полно, да и едят только один раз, и то все вчерашнее и без разбору: ассорти салатов, изменивших вкус, подсохшие пироги, которые позабыли накрыть салфеткой, фаршированные яйца, если остались. То ли это завтрак – но с водкой и селедкой; то ли обед, но без супа. Этот день тихий: отсмеялись вчера, отвеселились, обессилели.

Хорошо в этот день быть за городом, на даче, в деревне. Хорошо надеть старую одежду с рваными рукавами, лысую шубу, которую стыдно людям показать, валенки. Хорошо выйти и тупо постоять, бессмысленно глядя на небо, а если повезет – на звезды. Хорошо чувствовать себя – собой: ничьим, непонятным самому себе, уютным и домашним, шестилетним, вечным. Хорошо любить и не ждать подвоха. Хорошо прислониться: к столбу крыльца или к человеку.

Этот день не запомнится, настолько он пуст. Что делали? – ничего. Куда ходили? – никуда. О чем говорили? Да вроде бы ни о чем. Запомнится только пустота и краткость, и приглушенный свет, и драгоценное безделье, и милая вялость, и сладкая зевота, и спутанные мысли, и глубокий ранний сон.

Как бы мы жили, если бы этого дня не было! Как справились бы с жизнью, с ее оглушительным и жестоким ревом, с этим валом смысла, понять который мы все равно не успеваем, с валом дней, наматывающим и наматывающим июли, и сентябри, и ноябри!

Лишний, пустой, чудный день, короткая палочка среди трех с половиной сотен длинных, незаметно подsunутый нам, расчетливым, нам, ищущим смысла, объяснений, оправданий. День без числа, вне людского счета, день просто так, – Благодарь.

Супчик

Три основных свойства, три черты характера определяют мою жизнь: глупость, жадность и тщеславие. Есть, безусловно, и другие, но они такого мощного влияния не оказывают.

Эти же оказывают, а объединившись вместе – тем более.

Например. Находясь в городе Питере, сварила я себе тыквенный супчик нечеловеческой вкусноты. Нечеловеческой. (Тщеславие.)

Но сварила я его к вечеру, а наутро мне уже надо было уезжать в Москву на поезде-сапсане. (Глупость.)

И мне стало жалко супчика, и затраченных на него трудов, и затраченных продуктов. (Жадность.)

Так что я взяла большую хорошую пластмассовую банку с завинчивающейся крышкой, специально для такого рода продуктов приспособленную, наполнила ее тыквенным моим прекрасным супчиком и уложила ее в чемоданчик. (Объединение ведущих жизненных качеств.)

Села в поезд Сапсан. Еду. Малую Вишеру проехали. Поглядываю в окно. По сторонам поглядываю. Кто передо мной сидит, чего делает. А передо мной сидит мужчина и с увлечением смотрит в свой ноутбук. А у него там мультфильм. (Я вообще заметила, что мужчины, едущие в Сапсане, как правило, смотрят боевые рисованные мультики; объяснить этот феномен я могу только тем, что этим мужчинам, как мы и подозревали, девять лет, ну десять; а то, что у него очки, хорошее пальто, он немного лысеет, тщательно выбрит и время от времени разговаривает по мобильному о каких-то поставках, трубопрокате или накладных, – это ничего не значит. Просто мы доверяем трубопрокат девятилетним, почему нет-то.)

В ушах у этого мужчины наушники, и он время от времени всхаживает, – когда уж очень там у него смешно в мультике. И согнутым пальцем периодически вытирает экран.

Я присмотрелась. Гляжу – а на экран мужчине с равными промежутками времени сверху что-то: кап... кап... кап... кап... Что за дрянь там на полке! – внутренне возмутилась я, а потом посмотрела – а это из моего чемоданчика. Суп.

Оранжевые такие капли – кап... кап... А этот девятилетний, нет чтобы разораться, раздуть ноздри, оглядываться по сторонам, вообще бушевать, – просто стирает тыквенное пюре с экрана то большим пальцем, то согнутым указательным; ему и сквозь суп веселое видно.

Видимо, его жизненные качества – незлобивость, смирение и тупоумие.

Макдональдс

У каждого есть свой рассказ о Макдональдсе. Есть и у меня свой. Расскажу.

Часть первая

27 февраля 1992 года немолодая американская дама Стелла Либек куда-то ехала с внуком на машине; внук был за рулем. Бабушке захотелось кофе – ужасного, жидкого водянистого американского кофе; это сейчас в Америке можно купить приличного кофе, а в 1992 году – ну не ближе, чем в Сиэтле, но они были не в Сиэтле. Внук подвез бабушку к Макдональдсу, потому что помои – они всюду помои, но в Макдональдсе они родные, и это так удобно, и вылезать не нужно: окно машины опустил, картонный стаканчик получил – и пей себе на здорovie. А если добавить в помои заменитель сахара и технические сливки из соевого белка, то это просто Парадайз и Аркадия. Макдональдс (в своем американском варианте) именно так и устроен: все народное, безвкусное, поддельное, по цене доступное, – белые промокашки помидоров, вялые маринованные кружочки огурцов; салат как мятая бумага, мелкие пережаренные крошечки картошки-фри. Мертвые ножки кур, нашпигованных антибиотиками. Ворона аппетитнее, чем эти ножки. А у внука госпожи Либек машинка была дешевая, не было в ней специальной полочки с дыркой для стакана. Так что госпожа Либек зажала стаканчик между своих немолодых лядвей и отколупнула крышечку, дабы вбросить в любимые помои сахарку и сливок. А стаканчик и опрокинься, а она и обварись.

Госпожа Либек ошпарила себе внутреннюю поверхность бедер, причинное место и ягодицы. Шесть процентов площади тела получили ожоги третьей степени, еще шестнадцать процентов – меньших степеней. Неслабо для дамы 79 лет! Неделя в больнице. Потеряла в весе девять килограмм. Неудивительно, что она, по американскому обычаю, обвинила в случившемся не внука, не себя, не машину, в которой не нашлось приспособления для стаканчика, не Господа Бога или кого там, внушившего ей мысль выпить кофейку, а стаканчик. А чей он будет, стаканчик? А Макдональдовых. Вот пусть они за все и ответят. И подала иск на двадцать тысяч долларов: лечение и какой-то упущенный доход; уж не знаю, из чего она его извлекала, в 79 лет-то.

Совсем старуха взбесилась, – подумали в Макдональдсе, и в ответ предложили 800 долларов. Это была ошибка; старуха оскорбилась и наняла юриста. И началось!.. Я тогда жила в Америке и следила за процессом по газетам; да вся Америка, затаив дыхание, следила за этим сюжетом. Юрист – Рид Морган его звали – запросил три миллиона долларов, и присяжные с ним согласились! Помню, там такой был аргумент: Макдональдс говорил «а нечего стаканчик зажимать между ног», а Рид Морган на это отвечал, что это такая американская культурная традиция, его вот так пристраивать. Это, как у нас бы теперь сказали, скрепы. Вы против скреп?

Сколько в результате получила бабуля, мы не знаем, но пишут, меньше 600 тысяч. Тоже неплохо, я вам скажу. Я вон себе дом в Америке за 150 тысяч покупала, так это Нью-Джерси, а старушка была из Альбукерке, штат Нью-Мехико, там недвижимость дешевле. Или она, скажем, внуку бабло завещала, а он удачно инвестировал, например, в Гугл, – но это я увлеклась и унеслась пустой мечтой в голубую дымку. Пардон.

Судебное разбирательство долго вертелось вокруг температуры злосчастного кофе. Макдональдс варил его и разливал при температуре около 82–88 градусов (по Цельсию). Нанятые бабулей сутяги доказывали, что еда и питье не должны быть горячее 54 градусов. Типично, типично американская презумпция: покупатель есть безгрешный, молочный, бессмысленный младенец, доверчиво берущий в рот и в руки любую гадость: ножи, яды, змей, колючую проволоку, кипятик. Поэтому производители опасных предметов должны на всех этих предме-

тах писать дисклеймеры: «этот нож острый и может вас порезать», «эта вилка может вас про- ткнуть», «огонь может вас обжечь», и другое, очевидное. В глуши Калифорнии, в забегаловке, стоящей посреди пустыни, где только песок, ящерицы, коршун в синем небе и безымянный крест на безымянной могиле какого-то павшего, не дошедшего до океана переселенца, – в сор- тире этой забегаловки висел сушитель для рук в формате выдерживаемого из аппарата рывками полотенца. На аппарате была надпись: *Don't insert your head into the towel's loop* – Не суй голову в петлю полотенца.

На стаканчике тоже была надпись: «Этот кофе горячий и может вас обжечь», но суд решил, что недостаточно крупная! Короче, в 1994 году – когда вынесли приговор – шел раз- говор о том, чтобы температуру кофе понизить. Источники пишут, что ее, однако, вовсе и не понизили, а кое-где и повысили до 90 градусов – о, какие дерзкие! Но мой опыт свидетельствует о другом, и я об этом расскажу, прежде чем распрощаюсь с Макдональдсом окончательно.

Часть вторая

Я в Макдональдсе была дважды: первый раз меня туда пригласил один продвинутый и всегда голосовавший за демократов калифорнийский продюсер, желавший приобщить меня, только что вышедшую на четвереньках из сибирских лесов наивную крошку, к вершинам сво- боды, толерантности и других западных ценностей. План его состоял из нескольких пунктов, первый был – посещение протестантской церкви для, как потом выяснилось, вставших на путь исправления чернокожих проституток, не все из которых полностью вылечились от своих вене- рических заболеваний и СПИДа. В церкви была сцена, как в сельском клубе, и зал на сто поса- дочных мест, – простые скамьи, не мешавшие непрошеным объятиям. На сцену выбежали тол- стые перевоспитавшиеся и стали приплясывать, хлопать в ладоши и петь какие-то частушки про Джизуса; мы же, сидевшие в зале на скамьях, должны были взяться за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке, и раскачиваться из стороны в сторону, подпевая.

Продюсер, выйдя из этого сарая, сказал, что он даже вот просветлел и повеселел духом после такого дружеского раскачивания, хотя сам он, конечно, ни в какого Джизуса и не верит, но вот чернокожий народ очень уж хороший. Вторым же пунктом он меня сейчас отведет в истинно народный ресторан, так и сказал – ресторан; и отвел, и это был Макдональдс.

Я не буду комментировать, клавиатуру расшатывать, но с этого дня я дала себе клятву и зарок: никогда, никогда не переступить порога этой забегаловки, кроме как по жизненным показаниям. (Когда я даю себе зарок, я всегда в договоре с Судьбой прописываю отдельным пунктом форс-мажорные обстоятельства.) В Бургер Кинг зайду, если припрет, в Сбарро уны- лое, но вот в Макдональдс – нет.

И вот прошло время, и я стала жить в Америке, и работала я в колледже, который нахо- дился на расстоянии 250 миль от моего, за 150 тысяч купленного, домика. И настал и прошел декабрь, и я провела последнее занятие, и, приплясывая от счастья освобождения, покидала все свои манатки в свою старую, ржавую машину, которую я собиралась завтра же выбросить, чтобы купить новую. Покупала я ее уже старой, и она за годы дошла до такого состояния, что сквозь проржавевшее днище видно было мелькавшее шоссе. Последний рейс – и на свалку, – сказала я ей. Села, помахала рукой елям в снегу, желтому северному закату, нарядному малень- кому городку, где расположился мой колледж, включила зажигание – и крик, что-то сломалось. Через минуту стало понятно, что именно: лопнула система обогрева, и вышел ей кирдык. Я заехала на авторемонтную станцию, где мне с удовольствием подтвердили: да, все безнадежно.

Ну, не сдавать же в ремонт машину на выброс? Я решила: а доеду! Доеду до дома! *“Damn the torpedoes, full speed ahead!”* – «К черту торпеды и полный вперед!» – как сказал мой люби- мый адмирал Фаррагут. 250 миль – это у нас что? Это у нас 400 километров. Ну и что? Ну

и что? Я надела под шубу второй свитер, варежки надела, а сапоги у меня и так были угги. Мороз был минус 25 градусов. Первые 50 миль ехать было даже прикольно.

На больших американских шоссе примерно каждые 50 миль стоят площадки для отдыха и передышки – заправиться бензином, поесть, погреться, купить детям очередного ненужного синтетического Микки-Мауса и «сникерс», а себе, не знаю, лотерейный билет, чупа-чупс и газету, чтобы узнать, как наши сыграли и какой вообще счет. К тому моменту, как я подъезжала к такой “area”, машина моя уже была выслана изнутри толстым слоем инея, покрывавшим и заднее стекло, и все боковые, и переднее, но в переднем я протаивала кружочек ладонью, чтобы видеть дорогу. То одной рукой протаивала, а другой рулила, то меняла руку. Если же проталинка зарастала, я скребла ее ногтями.

На остановке я шла к рукомойнику и держала там руки в теплой воде, чтобы вернуть им чувствительность. Потом я что-нибудь горячее ела и пила. Потом покупала еще стакан горячего, чтобы на ходу, в машине, паром протаивать свою маленькую оконную прорубь. С каждым разом это становилось все сложнее, и суставы не хотели сгибаться и разгибаться, и сил и внутреннего тепла уже хватало не на 50 миль, а на 30, а небо в проталинке из желтого быстро стало синим, а потом черным, черным без звезд, и на дороге не было никаких фонарей, кроме моих фар. И когда я добиралась до зон отдыха, я дольше сидела там в тепле, и тупее глядела в стакан с пойлом, и мне вдруг хотелось хлеба и макарон, и я, не веря себе, покупала и ела хлеб и макароны, и они меня немножко грели.

Потом зоны отдыха кончились – я свернула с большого шоссе на маленькое, где грузовики не ходят, так и некого особенно обслуживать. А хочешь еды и бензина – сворачивай в населенный пункт, городок какой-нибудь. И вот где-то уже на последнем отрезке пути, когда мне понадобился последний стакан для последнего рывка, – а уже была ночь, уже всё позакрывали – я с отчаянием и раздражением увидела, что единственный огонек светится в ненавистном Макдональдсе, в который я поклялась же не входить! Но жизнь дороже клятвы, и пришло время форс-мажора.

В заведении работал унылый одинокий негр. «Два кофе», – сказала я. Он налил и подал мне два стакана. Я сунула в кофе ледяные свои пальцы. Кофе был еле-еле. «Нет, мне горячий», – сказала я. – Подогрейте». Негр сунул стаканы в микроволновку на несколько секунд и вернул их на прилавок. От них даже пар не шел. «Давайте еще подогрейте!» – настаивала я. Негр заколебался. Очевидно было, что каково бы ни было постановление суда относительно температуры пойла, собственное начальство этого негра сделало ему суровый втык: не вздумай подавать кофе горячим! Сам платить будешь, если что. Он еще несколько секунд подержал стаканы в печи. Я еще раз их отвергла. Мы стояли и смотрели друг на друга, он – черный, живой и теплый, я – ледяной истукан с температурой тела 35 с половиной. В его глазах была вековая тоска хлопковых плантаций Миссисипи: о Джизус, один белый толкает туда, другой белый толкает сюда... В моих глазах было вот это вот, которое мы видели в «Игре престолов» – голубое смертельное убийство; белые ходоки, что ли.

«Значит так, дружок, – сказала я. – Я знаю, что ваш сраный Макдональдс проиграл суд и теперь оттягивается на нас, простых замерзающих. Я знаю, что он не велит тебе разогревать кофе до горячей температуры. Но я еду в машине, которая представляет собой ледяной гроб на колесах. И я проехала в ней больше двухсот миль. И если я не напьюсь горячего и замерзну в машине, то перед смертью я негнушными пальцами напишу записку. Я напишу в ней: меня убил – как тебя зовут? Джонатан? – меня убил Джонатан из Макдональдса, что в городе Пекуаннок, штат Нью-Джерси. Я зажму ее в кулаке, и трупное очоление не позволит вырвать ее у меня. Если ты...»

Джонатан проворно сунул стаканы в печь, вскипятит их до предела, и я ринулась в машину. Протопила новую дырку. И добралась.

А по-умному, надо было замерзнуть насмерть, посмертно засудить их всех на большую сумму и оставить детям с внуками большое наследство; жили бы в хороших каменных домах и вспоминали добром мать и бабушку; вот так вот рачительная хозяйка бы поступила! Но у нас же всё человеколюбие и прочие всякие глупости, вот и ходим нищими, с обмороженными руками и хроническим бронхитом.

Купить молока

Шла по воскресной ярмарке, продают разливное молоко. Я молока не пью, но ведь настоящее, разливное, не порошковое, надо купить. Купила полтора литра.

Принесла домой. Думаю: скиснет ведь нах. Вскипятила. Смотрю – не сворачивается. Значит, точно настоящее. Раз не сворачивается, значит, из него можно сделать крем! Сделала крем. Крем я не ем.

Кто же будет есть крем просто так. Крем надо положить в эклеры. Эклерам нужны яйца. Яиц нет. Сбегала назад на рынок, купила яиц. Испекла эклеры, наполнила кремом. Эклеры я не ем.

Кто-то должен их есть! Вызвала внучку. Внучка пришла, но она, как выяснилось, сладкого не ест, а только всякое мясо и овощи. Быстро сбегала на рынок, купила еду для внучки, приготовила, устала, сил нет.

А эклеры стоят несъеденными. Вызвала племянника. Племянник пришел со своим компьютером: сессия, надо готовиться, сам худой, ужас, ребенку нужно есть; супу наварила, чахобили на скорую руку, сырников наваляла, салатов всяких овощных, живи у меня вон на том диване, холодильник забит эклерами и завтра, видимо, напеку еще.

Такая моя жизнь. А всего-то молочка купила.

Переводные картинki

Я начала читать с трехлетнего возраста, то есть так мне говорили родители, а сама я этого, конечно, не помню.¹ Читала все подряд. Иностранным языкам меня начали обучать с пятилетнего возраста – сначала английскому, потом французскому, а после, безуспешно, – немецкому. Мои родители говорили свободно на трех иностранных языках и считали, что и дети (а нас было семеро) тоже должны. Дети же так не считали.

Но от родительского принуждения деваться было некуда. Зимний вечер, темнота, только мы с сестрой наладились играть в куклы (у нас был двухэтажный кукольный домик, с настоящими крошечными электрическими лампочками, с маленькой ванной и уборной, с балкончиком, – чудное сооружение, привезенное кем-то из Германии после войны и доставшееся нам в поломанном, но все еще рабочем виде), – как вдруг звонок в дверь; сердце падает; из прихожей тянет холодом: пришла учительница французского, не заболела ни сапом, ни чумой, благополучно добралась. Вечер испорчен. Спряжения французских глаголов – ненавистную языковую алгебру – помню до сих пор. Примеры из Альфонса Доде, а потом чтение самого Альфонса вызывали удушье. Младшая сестра, быстрая на руку, язвительная, писала на французенку эпиграммы-акrostихи:

Шуршит пальто ее в передней.
Вошла, с морщинистым лицом.
Ее эспри, скорее средний,
Для нас считают образцом.
Ее дыханье неприятно.
Рука ее клешне подобна.
Сидеть с ней, право, неудобно:
Как безобразна, как отвратна!
А! Что над рифмами корпеть, —
Я не могу ее терпеть!

Стихи преподносились родителям, родители хохотали и просили еще: они поощряли все науки, все искусства, любое творчество и фантазию. Английский язык давался легче, а может быть, учительницы были нам милей, но «Алису в стране чудес», адаптированное издание, я терпела. «Матушку-гусыню» читали по-английски, хорошо помню свои чувства: зачем же на иностранном языке, когда по-русски можно лучше, ловчее, понятнее. Даже сами очертания латиницы мне не нравились: нарочно придумано, чтобы мучить человека. Мой отец, видя мое сопротивление и беспросветную лень, придумал заниматься со мной самостоятельно: час в день, летом ли, зимой ли, я должна была читать вслух под его руководством английскую либо французскую книжку. Это был замечательный ход: я должна была читать Агату Кристи (на обоих языках, чередуя их). Он совершенно справедливо рассудил, что если все остальные стимулы и призывы к общей культуре, образованности и расширению горизонтов не действуют, то должно же подействовать примитивное любопытство: кто убил-то? Так я прочитала около 80 романов Агаты Кристи, к большому маминому неудовольствию, – она считала, что читать надо Шекспира и всякое такое. Когда я закончила первую дюжину «агатников» – к двенадцатилетнему возрасту, – отец подарил мне наручные часики. В том смысле, что на них тоже двенадцать цифр, и так далее. Я через две недели потеряла их в дачном черничнике и горько рыдала, ползая в кустах до темноты, но так и не нашла. Часы потеряла, но время, как выяснилось, нет.

¹ Журнал «ИЛ» попросил ответить на вопросы анкеты на тему: какую роль играла иностранная литература в вашей жизни.

Так меня мучали с пятилетнего возраста и до поступления в университет. Я читала всегда – за едой, в постели, в автобусе, – но по-русски – с удовольствием, а на иностранных языках – с отвращением. В результате для меня зарубежная литература – это то, что написано латиницей, а русская – то, что написано кириллицей. Русскими книжками были в разное время: О. Генри, Эдгар По, Дюма (в первую очередь «Граф Монте-Кристо»), Марк Твен, Жюль Верн, Конан Дойль, Уилки Коллинз («Лунный камень»), Герберт Уэллс, Мери Мейп Додж («Серебряные коньки»), «Голубая цапля», «Маленький лорд Фаунтлерой», «Хитопадеша» (индийские легенды), «Приключения Гулливера» (сокращенные, там, где он на обложке тянет за собой корабли на нитках), «Маленький оборвыш»; весь – от и до – Андерсен с лучшими на свете картинками Свешникова (вот помню!), сказки Топелиуса, сказки Кристиана Пино, сказки Шарля Перро, сказки братьев Гримм, сказки Гауфа, туркменские сказки (какие-то три козленка: Алюль, Булюль и Хиштаки Саританур, на обложке – красавица и красавец в обнимку с гранатовым Деревом), осетинские мифы («Сослан-богатырь, его друзья и враги», там про какое-то страшное живое колесо, которое отрезало Сослану ноги), японские сказки, написанные на смешном деревенском, нянькином языке («пригорюнился заяц, а делать нечего»; «глядь – а это Момомото явился») ... Самой же любимой книгой были «Мифы Древней Греции» Н. А. Куна: в свои пять лет я знала генеалогию всех олимпийских богов, всех героев и всех достойных упоминания смертных. Я и сейчас думаю, что это лучшая книга на свете, в ней есть все: и ручьи, и моря, и корабли, и битвы, и колесницы, и плющ, и мирт, и лавр, и ласточки, и лабиринт, и зубы дракона, и страсти, и слезы, и коварство, и любовь, и мужество, а главное – весь мир шелестит богами и наполнен их незримым, но несомненным присутствием. Все это – русское, а всякие там “*has been doing*” и “*had had*”, а уж тем более “*nous passâmes sous un pont, puis sous un autre*” – конечно же, нет.

Потом, позже – Бальзак, Золя, Мопассан, Вальтер Скотт, Сигрид Унсет («Кристина, дочь Лавранса»; кого ни спросишь – никто не читал, а ведь нобелевская лауреатка), Ромен Роллан, Диккенс, Хемингуэй, Оскар Уайльд, Сомерсет Моэм, Олдос Хаксли. И опять то же самое: «Евгению Гранде» Бальзака меня заставляли читать по-французски, и эту книгу я не буду перечитывать под ружейными выстрелами, хотя «русского» Бальзака я читала с удовольствием. Правда, ничего не запомнила. Бальзак почему-то стоял на полках каждого дома, куда мы ходили в гости, темнел огромным собранием сочинений; обложка у него была зеленая. Моя подруга в свои пятнадцать-шестнадцать лет прочитала Бальзака раньше нас (мы с сестрой были на четыре-пять лет ее младше) и пропиталась его сюжетами и реалиями, а также переводным бальзаковским словарем. Она была сочинительница и любила рассказывать нам придуманные ею самой романтические повести из французской жизни, как Шахерезада: понемножку, оставляя самое интересное на завтра. Летом мы забирались в черничник и собирали ягоды с кустов в бидон, ползая на коленках по колкой от сосновых иголок земле, а она рассказывала, вдохновенно завираясь: «Он распечатал надушенное письмо и побледнел. “Я разорен! – вскричал Гастон. – Все кончено!”» Назавтра Гастон снова был богат и ездил в кабриолете, смертельно бледный под широкополой шляпой. «Но как же он выкрутился?» – спрашивали мы. – «Очень просто – он перезаложил векселя».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.